Перевод
Сергея Карпова



ДЖОЗЕФ
КОНРАД

ФОРД
МЭДОКС
ФОРД

НАСЛЕДНИКИ

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ ИСТОРИЯ

Наследники. Экстравагантная история

Джозеф Конрад, Форд Мэдокс Форд

Аннотация
Джозеф Конрад, Форд Мэдокс Форд. Наследники. Экстравагантная история
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая

Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая

Аннотация

Начинающий писатель Артур Этчингем-Грейнджер мечтает создать шедевр и обрести признание. Но пока что его удел — скромные подработки, пустые чаепития с коллегами по перу и полное безразличие читателей. Всё меняется, когда он встречает эмансипированную иностранку, которая утверждает, что явилась в Англию из таинственного Четвёртого измерения, чтобы навсегда разрушить привычное мироустройство. Их знакомство запускает невероятную череду событий: пока девушка завоёвывает влияние в европейских элитах, Артур оказывается в двух шагах от литературной славы, цена которой, однако, может быть слишком высока.

Союз не менее удивительный на рубеже XIX и XX веков образовали автор «Сердца тьмы» Джозеф Конрад и будущий создатель «Конца парада» Форд Мэдокс Форд. Их экспериментальный роман на стыке политического детектива, социальной сатиры и научной фантастики продолжает совместную серию переводов Яндекс Книг и «Подписных изда-

ний».

Джозеф Конрад,
Форд Мэдокс Форд
Наследники
Экстравагантная история

Перевод с английского Сергея Карпова

Директор по контенту Яндекс Книг: *Юлия Мишкуц*
Главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг: *Ксения Грициенко*
Ответственный редактор: *Елена Васильева*
Менеджер проекта: *Дарья Виноградова*
Продюсер аудио: *Елизавета Никишина*

Литературный редактор: *Любовь Сумм*
Корректор: *Юлия Исакова*

Производство аудио: *Вокс Рекордс*

Обложка: *Наташа Васильева*
В оформлении обложки использован фрагмент иллюстрации Жоржа Барбье «Вилла д'Эсте» (Рейксмюсеум, Нидерланды)

© С. Карпов, перевод, 2025
© Яндекс Книги, 2025
© Подписные издания, 2025

* * *

Сарданапал возвел семь городов за день.
Так будем есть, пить и спать, ибо завтра мы умрем[1].

[1] Примечания: 1

Перефразированная надпись с могилы мифического ассирийского царя Сарданапала, перевод Г. Стратановского: «Сарданапал, сын Анакиндаракса, построил Анхиалу и Тарс в один день. Ешь, пей, веселись, потому что все остальное не стоит этого» (то есть щелчка, который статуя Сарданапала изображала правой рукой). В других вариантах перевода Сарданапала зовут сыном Анасиндаракса. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Посвящается Борису и Кристине

Глава первая

— Идеи, — сказала она. — О, что касается идей…

— Да? — рискнул спросить я. — Что касается идей?..

Мы прошли через старинную калитку, и я бросил взгляд через плечо. Полуденное солнце светило над каменным фасадом, небольшими статуями святых, лепными козырьками, присохшей грязью и белыми полосами птичьего помета.

— Вот, — показал я, — разве это вам ни о чем не говорит?

Она качнула головой и с отрицанием, и с презрением.

— Но как же, — пробормотал я, — ассоциации… идеи… исторические идеи…

Она промолчала.

— Всё у вас, американцев, так, — начал было я, но меня остановила ее улыбка.

Она словно усмехалась словам пожилой дамы, возмущенной поведением своих современных дочек. Это была улыбка человека, уверенного в

своем неоспоримом превосходстве.

В беседах любой продолжительности у одной стороны всегда есть преимущество перед другой — иерархическое, интеллектуальное или социальное. В этой беседе моя спутница если и не обладала негласным превосходством воли, то хотя бы претендовала на него, не сомневалась в нем. Я к подобному не привык. Я любил поговорить и гордился своим подвешенным языком.

Я уже бросал на нее взгляды; но теперь, покосившись, посмотрел по-новому, оценивая. Отвлекся от своей привычной мрачности, гадая, что она за человек. Пышные волосы, красивые глаза и изрядная доля очарования. Да, все это так. Но было и что-то еще — что-то… не относившееся к красоте. Черты лица столь совершенны и изящны, что казались хрупкими, чуть ли не прозрачными, но при этом ни намека на ранимость; во взгляде — невероятная сила. Волосы светлые с отливом, щеки румяные, словно на них откуда-то падает теплый свет. Она выглядела вполне привычно, пока вдруг не поймаешь себя на мысли, как она необычна.

— Куда вы собираетесь? — спросила она.

— Я иду в сторону Дувра.

— Можно с вами?

Я посмотрел на нее, думая разгадать с одного взгляда. Разумеется, это было невозможно. «Будет еще время поломать голову», — подумал я.

— Дороги открыты для всех, — сказал я. — Так вы не американка?

Она покачала головой. Нет. Но и не австралийка, и не из каких-либо британских колоний.

— Вы не англичанка, — рассуждал я. — Слишком уж хорошо говорите.

Я был раздражен. Она все не отвечала. Снова улыбнулась — и вот тут я уже рассердился. В церкви она точно так же улыбнулась, когда услышала, как служитель расхваливает особенно отвратительные образчики реставрации, и как раз эта улыбка придала мне смелости подойти к ней, чтобы с уважением поддержать во мнении и раскритиковать гипсовую лепнину. Вы знаете, как обращаются к юной даме, которая очевидно может постоять за себя. Так же и я заговорил с ней. Она улыбалась болтовне экскурсовода, когда тот показывал нашей увлеченной туристической группе место, где принял мученическую смерть блаженный Фома[2], — и в той улыбке сквозило чувство собственного превосходства.

[2] Примечания: 2

Фома Бекет (1118–1170) — канцлер Генриха II и архиепископ Кентерберийский, канонизированный после расправы.

Тогда меня это привлекло, но теперь, когда она точно так же улыбалась, глядя мимо меня — не совсем мне, — на кривых дорогах городка, я не мог скрыть раздражения. Я, в конце концов, не абы кто; я ей не церковный служитель. В те дни я много о себе мнил, и за время одиночества и долгих размышлений большое самомнение выкристаллизовалось в привычку. Я был писателем с высокими — высочайшими — идеалами. Я удалился от мира, вел затворническую жизнь в стороне от городов, как положено отшельникам, в надежде, что однажды чего-нибудь добьюсь — перенесу на бумагу нечто великое. Вдруг она прочла мои мысли.

— Вы пишете, — уверенно заявила она.

Я спросил, как она догадалась, не читала ли что-нибудь мое — хотя и читать-то было почти нечего.

— А вы известный автор? — спросила она.

— Увы, нет! — ответил я. — Вы и сами это знаете.

— А хотели бы стать?

— Все писатели хотят, — ответил я, — хотя кое-кто возражает, что мы стремимся к высокому.

— Понимаю, — задумчиво ответила она.

У меня было ощущение, будто она принима-

ла некое решение насчет меня. С врожденной неприязнью к подобному отношению я прервал неведомые мне мысли.

— Но полно, — сказал я. — Обо мне говорить неинтересно. Лучше поговорим о вас. Откуда же вы?

И снова в голову пришло, что мне совершенно незнаком подобный тип. Вот все та же улыбка — насколько я видел, та же в точности. У улыбок тоже есть свои тонкие оттенки, как у смеха, у интонаций. Я не смог удержаться и снова заговорил.

— Откуда вы? — повторил я. — Должно быть, вы из какой-нибудь новой страны. Готов поклясться, вы иностранка, раз смотрите на нас свысока. Вы до того умеете действовать на нервы, что еще чуть-чуть — и приму вас за пруссачку. Но очевидно, что вы из новой страны, которая только начала искать себя.

— О, мы унаследуем землю, если вы об этом, — ответила она.

— Это можно понимать по-разному, — сказал я, стараясь не дать ей вывести меня из себя. — Откуда вы?

Я отлично понимал, что достаточно и одного вопроса, но, наверное, в попытке показать свое

интеллектуальное превосходство продолжил:

— А знаете, давайте играть честно. Я же готов рассказать кое-что о себе — уже сказал главное. Ответьте взаимностью и вы, это будет честно.

— А зачем обязательно играть честно? — спросила она.

— А что вы имеете против? Или вы не считаете честность национальной чертой вашей страны?

— Вам правда так интересно, откуда я?

Я небрежно это подтвердил.

— Слушайте, — сказала она и издала несколько звуков.

Меня охватило странное, противоестественное чувство. Оно налетело внезапно, как во вдруг наступившей тиши порыв ветра в безветренный день.

— Что… что это?! — воскликнул я.

— Я сказала, что обитаю в Четвертом измерении.

Я восстановил самообладание, решив, что попросту ощутил некое неизвестное и маловажное физическое явление.

— Должно быть, мы слишком быстро поднимаемся в гору, — сказал я. — Плоховато себя чувствую. Я не расслышал, что вы сказали.

Уж точно я запыхался.

— Я сказала, что обитаю в Четвертом измерении, — повторила она с удивительной серьезностью.

— О, полноте, — возмутился я. — Что за игры. Доводите только что выздоровевшего человека до изнеможения, а потом мучаете загадками.

Ко мне вернулось и дыхание, и желание разглагольствовать. Но пока я просто посмотрел на нее. Я начинал понимать. Вполне очевидно, что она иностранка в чужой стране — в стране, где ее национальные особенности проступают ярче. Должно быть, она не американка, а расы иной, непостижимой — семитка или славянка. Я в жизни не видел черкесов, и раньше было принято считать, что черкешенки — светлокожие красавицы и тому подобное. И все, что в этой девушке отталкивало, объяснялось всего лишь разницей в менталитете. В конце концов, мы не так уж отличаемся от лошадей. Боимся того, чего не понимаем, — даже считаем зловещим. И она казалась мне зловещей.

— Вы так и не ответите, кто вы? — спросил я.

— Уже ответила.

— Если вы думаете, будто я поверю, что вы обитаете в математической нелепице, то вы заблуждаетесь. И нешуточно.

Она повернулась и показала на город.

— Смотрите! — сказала она.

Мы уже забрались за западный холм. У наших ног, под небом, откуда ветер сдул все облака, расстилалась долина — широкий и неглубокий котел, налившийся лиловым от дыма из труб. А поверх красных крыш воспаряла золотая церковная башня. Живописная картина, последнее и великое слово в искусстве. Я перевел взгляд на девушку. Я был тронут — и знал, что это величие перед нами не могло не тронуть и ее.

Она улыбалась.

— Смотрите! — повторила она.

И я посмотрел.

Все то же лиловое и красное, и золотая башня, живопись, последнее слово. Она что-то произнесла — некий звук.

Что случилось? Не знаю. Все предстало мерзким. Я словно увидел что-то вовне, что-то огромнее — огромнее соборов, огромнее самой идеи богов, кому посвящались соборы. Башню перекосило. Я заглянул за нее — и увидел не крыши, не дым, не холмы, а невоплощенную, невоплощаемую бесконечность космоса.

Все прошло через миг. Башня вновь заняла свое законное место, а я уставился на свою спутницу.

— Какого дьявола! — воскликнул я в панике. — Какого дьявола вы играете со мной такие шутки?

— Как видите, — ответила она, — рудименты восприятия у вас остались.

— Вы уж простите, если я не понимаю, — сказал я, хватаясь за осколки гордости. — Я человек вспыльчивый.

Я хотел скрыть эту свою внезапную обнаженность.

— Простите за грубые выражения, — добавил я в доказательство того, что самообладание ко мне вернулось.

Мы продолжили путь в молчании. Я был потрясен, физически и душевно, и пытался скрыть от самого себя причину этого состояния. Немного погодя я произнес:

— Значит, вы желаете сохранить… свое инкогнито.

— О, я не делаю из себя загадки, — ответила она.

— Вы только сказали, что вы родом из Четвертого измерения, — заметил я с иронией.

— Я и в самом деле родом из Четвертого измерения, — терпеливо сказала она.

Она говорила тоном человека в затруднении,

но знающего об этом затруднении и готового его преодолеть. Чувствовалось в ней утомление грамотного взрослого, вынужденного объяснять глупым детям — снова и снова — что-то элементарное из таблицы умножения.

Она точно прочитала мои мысли, в точности угадала формулировку. Даже предварила свою дальнейшую речь словом «да».

— Да, — начала она. — Я словно пытаюсь объяснить идеи нового века человеку из века предыдущего. — Она помолчала в поисках подходящего примера, который я пойму. — Словно я объясняю доктору Джонсону техники и популярность школы поэзии кокни.

— Я понял, — сказал я, — что меня вы ставите не выше чокто[3]. Но вот чего я не пойму: какое это имеет отношение к… как вы сказали, Четвертому измерению?

— Я объясню, — ответила она.

— Но уж, пожалуйста, объясняйте, как какому-нибудь чокто, — любезно попросил я. — Четко и убедительно.

— Непременно.

И девушка приступила к долгой речи; я при-

---

[3] Примечания: 3

Чокто — племя индейцев в Северной Америке.

вожу ее в сокращении. Не помню точных слов — их было слишком много; но говорила она как по писаному. Ее подбор слов, ее невыразительный голос завораживали. Я словно бы слушал фонограф с записью технического текста. Меня привлекала примесь нелепицы, безумия; обычный расстилающийся под уклон пейзаж, прямая белая дорога, что при взгляде с высоты убегала на мили и мили — все прямо и прямо, такая белая. В необъятной синеве неба разносилось пение бесчисленных жаворонков. А я слушал пародию на научный труд в исполнении фонографа.

Я услышал о Четвертом измерении; узнал, что это обитаемый план существования, невидимый нашему оку, но вездесущий; услышал, что как раз его и увидел, когда перед моими глазами накренилась колокольня Гарри. Услышал описание его обитателей: народа дальновидного, исключительно практичного, невероятного; безо всяких идеалов, предрассудков и сожалений; без чувства прекрасного и без уважения к жизни; свободного ото всех этических традиций; эти существа не знают боли, слабости, страданий и смерти, будучи неуязвимыми и бессмертными. Впрочем, что они бессмертны, она не сказала.

— Вы бы нас возненавидели — и еще вознена-

видите, — закончила она.

И словно только тогда я пришел в себя. Меня так захватила мощь ее воображения, что я было уверился, будто слышу правду. Видимо, так она развлекалась; немыслимо, чтобы она хотела меня напугать. Не стану делать вид, будто совсем не лишился самообладания, но все-таки я дружелюбно ответил:

— Что ж, вы явно изобразили этих созданий достойными ненависти.

— Я ничего не выдумываю, — сказала она со слабой улыбкой и продолжила свою потеху. Теперь она рассказывала об их происхождении: — Ваши… — Так она, надо думать, называла жителей моей страны или население земли в целом. — …Ваши предки — это и мои предки, но вы давным-давно покинули Измерение, как мы покидаем сейчас, и захватили Землю, как захватим мы завтра. Но здесь вас поджидали болезни, как поджидают нас: убеждения, традиции; страхи; сочувствие… любовь. Почитание идеалов придавало вам сил — и вселяло печаль; вы утешали себя верованиями, искусством — и всё забыли!

Она говорила со спокойной уверенностью в своих словах, с необоримой и равнодушной убедительностью. Она лишь констатировала факты,

а не объясняла, во что верит. К тому времени мы оказались у небольшой придорожной таверны. На скамье перед дверью спал крестьянин в темной одежде, уложив голову на стол.

— Заткните уши пальцами, — велела моя спутница.

Я решил потрафить ей.

И увидел, как двигаются ее губы. Крестьянин вздрогнул, приподнялся, опрокинув свою кружку неуклюжим, судорожным движением руки. Протер глаза. Мы ушли раньше, чем услышали его мнение о произошедшем.

— Я видел, как конюх так же делает с жеребцом, — заметил я. — Я знаю, что бывают слова с определенным эффектом. Но не стоит играть злые шутки, будто какой-то водевильный дьявол из «Фауста».

— Полагаю, это неприлично? — усмехнулась она.

— Элементарная вежливость, — запальчиво ответил я. — Бедняга остался без пива.

— А мне что с того? — спросила она с видом человека, терпеливо объясняющего свой наглядный пример.

— Для него это значит много.

— Но для меня?

Я промолчал. Сразу после этого она прекратила свой рассказ так же резко, как начала. Она словно заучила лекцию наизусть и теперь подошла к ее концу. Я никак не мог понять, к чему же она вела. В этой девушке были новизна, необычность; порой она казалась безумной, порой — пугающе нормальной. Мы где-то перекусили — еда прервала течение ее речи, — а потом, под вечер, отправились проселками по уединенным долинам. Мне было нехорошо: расшатанные нервы, тяжелые думы, однообразие жизни в мрачной тени неудач. В этом краю у меня было одно дело, и я близился к его завершению, пока искал успокоение в тихих местных лощинах, чтобы вернуться к себе прежнему. Не хотелось думать о том, как я переживу этот год, — о тысяче действительно важных мелочей. Поэтому теперь говорил я, а она — она очень внимательно слушала.

Но темы разговора быстро исчерпали себя, и скрепив сердце я вернулся к Четвертому измерению. Мы шли по безлюдной долине между Хардресом и Стеллинг-Миннис; мы молчали уже несколько минут. Лично мне казалось, в нашем молчании назревали невыразимые чувства, что порой проходят между мужчиной и женщиной, как ток. Солнце заходило, в лесистых лощинах

темнело. Я рассмеялся какой-то своей мысли — уже и забыл какой — и принялся забрасывать спутницу вопросами. Я старался придраться к идее о Четвертом измерении, доводил ее до абсурда. Я говорил: «И когда ваше великое множество выйдет из этого измерения и вторгнется на землю, вы сделаете то и се…» — всякие ироничные глупости. Она холодно возразила, и вмиг моя ирония показалась пошлой, как фамильярность коммивояжера. Порой она обозначала: «Да, так мы и сделаем», — обозначала без слов, каким-нибудь жестом — я сам уже не опишу каким. Она внушала благоговение своими манерами, несла себя едва ли не с царственным достоинством; оттого даже становилось не по себе в той одинокой долине, такой пустынной, серой, замкнутой. В нависающих ветвях, в неподвижных завесах тумана осталось что-то от прошлого мира — словно в этих великих складках земли времени не существует, — и охватывало полное одиночество; казалось, может случиться что угодно. Я устал от звука собственного голоса. Но когда хотел замолчать, обнаружил, что спутница оказывает на меня какой-то необычайно живительный, бодрящий эффект.

Мы вышли к концу долины, где дорога начи-

нала взбираться на южный холм, на открытый простор. Я хранил тяжелое молчание. Благодаря тому, что она твердила с угрюмой бесстрастностью, я все-таки пришел к ви́дению — даже четкому представлению — ее фантастической идеи: аллегории, безумия, или чем это было. Пришельцы ворвутся толпами, материализуются, будут поглощать все, как саранча, неуязвимые из-за своего сходства с людьми. Они явятся внезапно, как выпадает снег за ночь: выглядываешь утром в окно — и весь мир уже белый; они явятся, как седые волосы, высасывая из нас силы, как годы сосут соки из наших мышц. Относиться к нам станут не лучше, чем мы сами относимся к низшим расам. Не будет ни сражения, ни убийств; мы — вся наша общественная система — расколемся, как раскалывается пополам балка под тяжестью, потому что мы насквозь проедены альтруизмом и этикой. Даже в самом нашем худшем изводе у нас есть предел, тот момент, когда мы восклицаем: «Нет, это уже слишком», — потому что нас веригами отягощают принципы. Кажется, она произнесла всего две фразы: «Считайте, мы участвуем с вами в скачках — и у нас фора» и «Мы лишь затянем вас в пучину своим весом».

— Но, значит… — ответил я. — Мы не сможем

никому доверять. Любой может оказаться одним из вас…

— Любой, — подтвердила она.

Она предрекала нам царство ужаса. Проходя мимо соседа на улице, мы станем коситься на него с подозрением.

Я молчал. Птицы убаюкивали заходящее солнце. В кронах деревьев густела тьма, минута за минутой краски мира становились все насыщеннее и мрачнее.

— Но… — начал я. Меня охватывало беспокойство. — Но почему ты мне все это рассказываешь? Ты думаешь, я присоединюсь к вам?

— В конце концов придется, — ответила она, — а я не хочу зря тратить силы. Если бы тебе пришлось помогать нам, ничего не зная, ты бы сопротивлялся, сопротивлялся и сопротивлялся. Мне пришлось бы с тобой повозиться. Но теперь ты будешь сопротивляться только вначале — а потом поймешь. Ты увидишь, как мы победим человека — человека с большой буквы, человека, стоящего за порядочность и честь. Ты увидишь, как сети стягиваются туже и туже, — и тогда поймешь. И прекратишь сопротивление, вот и все.

Я молчал. Хрипловато запел июньский соловей. Мы словно ждали какого-то сигнала. Ночные

существа шуршали в траве, в листве. Наконец стемнело так, что я не видел даже белого пятна ее лица.

Я поднял руку и случайно коснулся ее руки. Без колебаний схватил ее.

— Как я могу сопротивляться тебе? — спросил я и сам изумился силе своего чувства, прозвучавшего в шепоте.

Я поднял ее ладонь. Рука была совершенно холодная, и девушка словно и не думала противиться; но не успел я коснуться ее губами, как меня охватило что-то вроде панического приступа целомудрия. Я не знал, к чему это приведет — и вспомнил, что даже не знаю, кто она. С самого начала в ней ощущалось нечто зловещее, и теперь, во мраке, ее молчание и холодность бесстрастно угрожали чем-то неведомым. Я отпустил ее руку.

— Нам лучше поторопиться, — сказал я.

Вдоль дороги рос густой подлесок, над нами сплетались ветви. Я бы мог попытаться разглядеть ее лицо, но я не отрывал глаз от земли. Я был раздражен. Теперь, когда момент прошел, он казался упущенной возможностью. Уже скоро мы расстанемся, и эта мысль была тем более невыносима из-за ее редкого ума и необычной, но очень живой красоты. Она пробудила во мне

любопытство, которое нисколько не торопилась удовлетворять, и интерес на грани страха. Мы поднялись на холм и вышли на простор мягкого лужка. Здесь звук наших шагов приглушился, и мир стал тих как никогда. Вокруг нас были огороженные поля. Падал слабый свет луны, за грубые каменные ограды цеплялся мерцающий туман. Во все стороны далеко разбегались широкие и мягкие дороги.

— А теперь… — сказал я наконец. — Встретимся ли мы еще? — Мой голос прозвучал так хрипло, словно я молчал годами.

— О, встретимся, и не раз, — ответила она.

— Не раз? — переспросил я, даже не зная, радость ли чувствую или смятение.

За калиткой в живой изгороди я заметил проблеск белого дома. Казалось, он принадлежал другому миру; другому порядку вещей.

— А… вот и дом Кэллана, — сказал я. — Сюда я и шел…

— Знаю, — ответила она, — здесь мы расстанемся.

— Чтобы встретиться вновь? — спросил я.

— О… чтобы встретиться вновь; конечно, чтобы встретиться вновь.

Глава вторая

Ее фигура растворилась во тьме — так исчезают бледные создания, уплывая в пучину, — и с ее уходом вернулся мой благодушный настрой. В памяти эпизод объяснился сам собой: это было заигрывание с таинственной и определенно очаровательной случайной спутницей. Эта девушка — загадка, а ведь когда знаешь ответ, загадка — вещь ужасно скучная. Так скоро наскучит и она, как только я подберу к ней ключ. Тут мне пришла в голову догадка, что она хотела, чтобы я видел ее, пожалуй, как символ будущего — собственно, символ тех, кто унаследует землю. Она дурачилась со мной в духе дерзкой современности. Хотела показать мою старомодность; показать, что с мышлением, которое унаследовал я и подобные мне, уже покончено. Нас силком отправят в отставку, заменят и забудут. Очевидно, она лучше подготовлена к темпам нынешней жизни. Было в ней что-то — не просто остроумие, не просто безжалостная целеустремленность, но нечто иное и неизъяснимым образом более внушительное. Быть может, всего лишь самоуве-

ренность будущего преемника, неотъемлемое свойство жителей империи Запада. Но все-таки и я ей не какой-то негр — даже не индус. Я человек, черт подери, я человек.

Как писатель я был настолько неуспешен, настолько неизвестен, что начал считать себя опередившим время, творящим для потомства. Это вошло в привычку; единственная моя месть Судьбе. Но та девушка поставила меня в один ряд с массой заурядных писателей — объявила себя тем самым потомством, для которого я творил.

Скорее всего, она из какого-нибудь кружка, зовущего себя Четвертым измерением, — как в свое время были прерафаэлиты. Этакая лукавая аллегория. Я задумался, почему никогда прежде о них не слышал. И как так вышло, что они не слышали обо мне!

— Не могла же она не читать ничего моего, — ловил я себя на размышлениях. — Может, рассказ о Дженкинсе. Наверняка рассказ о Дженкинсе; в том паршивом журнале его поместили на видное место. Наверняка она увидела, что это настоящее искусство, и…

Понимаете, если вы писатель, вы склонны мыслить именно так.

К тому моменту я уже стоял на пороге великого

Кэллана. Постучавшись, я словно окунулся в быт великого, великого — о, бесконечно великого — романиста. Меня провели в освещенный салон, где меня приветствовала супруга великого человека, затем мягко доставили в спальню, там я привел себя в порядок и спустился, чтобы в конце концов оказаться в святая святых, где мои глаза не сразу привыкли к свету лампы. Кэллан восседал на софе в окружении восхищенной толпы, состоящей из очень и очень провинциальных персоналий. Уж и забыл, как они выглядели. Кажется, был один с рыжеватой бородой, которая ему вовсе не шла, и был другой, кому рыжеватая борода бы не помешала; был еще чрезвычайно угрюмый брюнет и, смутно припоминаю, кто-то шепелявивший.

Они говорили мало — собственно, разговором это было и не назвать. За речи здесь отвечал Кэллан. Он — говорил — очень — медленно — и — очень — авторитетно, словно великий актер, растягивающий свое время на сцене как можно дольше. При виде открывшейся двери он поднял тяжелые веки с выражением мрачного интеллектуального утомления; так его белый нос стал выглядеть еще длиннее. Его короткая каштановая бородка сильно поседела, подумал

я. А с этими высоким лбом и снисходительной, но милостивой улыбкой я, разумеется, был хорошо знаком. Их знали все по уличным плакатам. Видные гости и не желали говорить. Они хотели очаровываться — чем, собственно, и занимались. Кэллан пребывал в подходящей для этого позе — в той же самой, в какой его всегда фотографировали: одна рука поддерживает голову, другая теребит цепочку часов. Лицо совершенно серьезное, но глаза смущают тем, как воровато бегают. Он подробно расспросил меня о прогулке из Кентербери; заметил, что местный собор — это величественный — готический — монумент, и исправил мои заблуждения о направлении местных дорог. Явно остался доволен тем, как мало я запомнил из того, на что следовало бы обратить внимание по пути. Так ему представился повод продемонстрировать знание окрестностей.

— В коттедже — по — соседству — с мельницей — в Стеллинге — жила — примечательная — женщина, — сказал он. — Это она стала прообразом Кейт Уингфилд.

— В вашем «Болдеро»? — хором спросил хор.

От воспоминания о луге в Стеллинге — о поблескивающих белых ликах мрачных коттеджей — я словно ощутил дуновение холодного тумана.

И забыл сказать: «Ну конечно!»

— Она была — весьма — примечательна. — Она…

Я вдруг поймал себя на раздумье, что на самом деле реально: луг с туманными оградами и размытой луной — или эта комната с рядами книг в одинаковых переплетах и бюстом великого человека, что отбрасывал вверх зловещую тень с пьедестала за лампой.

Не успел я полностью оправиться, как видные гости потянулись на выход, чтобы успеть на последний поезд. Я остался наедине с Кэлланом.

Ради меня поддерживать торжественный настрой он не трудился и заговорил уже быстрее.

— Любопытный тип этот мистер Джинкс, верно? — сказал он. — Ты его узнал?

— Нет, — ответил я, — сомневаюсь, чтобы я с ним встречался.

Кэллан ответил раздраженным выражением.

— А мне казалось, я неплохо его передал. Это же Гектор Стил. В моем «Бланфилде», — прибавил он.

— Ну конечно! — сказал я. Я так и не смог дочитать «Бланфилд». — Ну конечно, э-э, да… разумеется.

Повисла неловкая пауза.

— Скоро принесут виски, — внезапно произнес он. — Я не пью, когда в гостях Как-Его-Там. Понимаешь, он священник — всей душой за воздержание. Когда нам подадут… скромные напитки… мы перейдем к делу.

— Ах, — сказал я, — так ты не шутил в письмах, когда говорил…

— Какие тут могут быть шутки, — ответил он. — О, а вот и виски. Ну что ж, намедни ко мне заходил Фокс. Фокса ты, конечно, знаешь?

— Это не он ли открыл газету под названием?..

— Да-да, — нетерпеливо продолжил Кэллан. — Он мастер открывать издания. Теперь пробует себя в новой области. У него сколько угодно спонсоров — всё, между прочим, большие имена. И он пустит мой следующий фельетон. Это… это начинание куда более серьезного толка, чем все, что он делал доселе. Понимаешь?

— Конечно, — сказал я, — только не понимаю, при чем здесь я.

Кэллан задумчиво отпил виски, добавил побольше воды, побольше виски — и наконец нашел напиток удовлетворительным.

— Видишь ли, — начал он, — Фоксу пришло письмо о том, что скоропостижно скончался Уилкинсон: болезнь сердца. От Уилкинсона ждали

цикл статей о выдающихся людях. Фокс растерялся, а я замолвил словечко за тебя.

— О, я очень… — начал я.

— Не за что, не за что, — перебил Кэллан равнодушно. — Мы с тобой уже давние знакомцы.

У меня перед мысленным взором внезапно промелькнул портрет прежнего Кэллана — раболепного, подозрительного субчика в дешевой одежонке, с вороватыми глазами и угодливой манерой.

— Ну разумеется, — сказал я, — но не понимаю, касается ли это меня как автора.

Кэллан прочистил горло.

— Долгие годы, — молвил он в своем величавом стиле, — вот те связи, что мы зовем узами дружбы.

Он замолчал, чтобы записать эту фразу на скрижалях своей памяти. Затащит ее в свой новый сериальный роман ради красного словца.

— Понимаешь, — продолжил он, — я написал немало автобиографических вещиц, и писать еще было бы уже на грани саморекламы. А ты сам знаешь, *как* я этого не люблю. Вот я и показал Фоксу твой очерк в «Кенсингтоне».

— Рассказ о Дженкинсе? — спросил я. — Как ты о нем узнал?

— Мне присылают «Кенсингтон», — ответил он.

В его голосе чувствовалась обида, и тогда я вспомнил, что мой выпуск «Кенсингтона» вышел с балластом в виде добрых семи страниц сериала от самого Кэллана — семи страниц мелким шрифтом.

— Как я говорил, — начал Кэллан заново, — ты уже должен хорошо меня знать и, полагаю, с моими книгами знаком. Что до остального, я предоставлю тебе любые материалы.

— Но, мой дорогой Кэллан, — сказал я. — Я же в жизни не писал ничего подобного.

Кэллан прервал меня взмахом руки.

— И мне, и Фоксу показалось, что твой… твой «Дженкинс» — как раз то, что нужно, — сказал он. — Конечно, то был этюд об обнищавшем художнике. Но исполненный замечательно.

Я склонил голову. Похвалы от Кэллана лучше принимать молча.

— Видишь ли, мы хотим — или, вернее, хочет Фокс, — объяснял он, — цикл исследований знаменитостей *chez eux*[4]. Они, разумеется, не обнищавшие. Но если отнесешься к ним так

---

[4] Примечания: 4

У них дома. — *Здесь и далее перевод с французского, если не указано иное.*

же, как отнесся к Дженкинсу, — застанешь в их кабинетах, в окружении того, что в их случае приравнивается к битым статуэткам и выцветшим шторам из саржи, — получится как раз то, что надо. Что-то новое — или, вернее, намного лучше: что-то старое, но в слегка — совсем слегка — новом свете. Чего и хочет публика.

— Ах да, — сказал я, — чего хочет публика. Но все-таки разве это уже не делали-переделывали? Я с десяток раз видел в шестипенсовых журналах твои фотографии в кресле, с перочисткой и тому подобным.

И вновь Кэллан с равнодушием показал свое превосходство взмахом руки.

— Ты себя недооцениваешь, — сказал он.

— Спасибо, — пробормотал я.

— Это будет — не просто — утоление любопытства, — а попытка — заглянуть — в суть вещей — так сказать, передать атмосферу; не просто описать мебель.

Он явно цитировал проспект нового издания, затем прочистил горло, чтобы молвить великую истину.

— Фотография — это — не — Искусство, — заявил он.

Кэллан на глазах становился все более эксцен-

тричным.

«В конце концов, — рассуждал я про себя, — отчего бы той девушке и не играть роль обитательницы иных сфер? Она уж точно справилась намного лучше Кэллана. Пожалуй, даже слишком хорошо».

— Платят достойно, — подал голос Кэллан. — Не знаю, сколько кладут за тысячу… но…

Я поймал себя на том, что помимо своей воли размышляю о предложении.

— Ну что, думаю, ты согласен?

Я вспомнил о долгах.

— …Что ж, пожалуй, — ответил я. — Но кто будут остальные, кому мне нужно придать атмосферу?

Кэллан пожал плечами.

— А, самые разные выдающиеся люди: воины, государственные деятели, министр иностранных дел мистер Черчилль, художники, священники… самые разные.

«Все виды славы», — подумалось мне.

— Газета готова взять на себя расходы в разумных пределах, — уверил меня Кэллан.

— Можно будет поразвлечься какое-то время, — сказал я. — Бесконечно тебе благодарен.

Он отмахнулся от моей благодарности обеими

руками.

— Просто пошлю Фоксу телеграмму о твоем согласии, — сказал он, поднимаясь.

Затем уселся за стол — с особым, уместным видом. У него имелись уместные виды на все случаи жизни. Он оттачивал их перед людьми так часто, что был готов к кодаку, даже если бы его разбудили среди ночи. Перед ним лежали все орудия писателя. Здесь тебе и книжные пюпитры, которые настраивались под любую позу хозяина; горы маленьких зеленых коробочек с большими красными буквами алфавита на них — и большие красные коробочки с маленькими черными буквами. Настольная лампа, красиво освещающая очередной уместный вид, одна печатная машинка с бумагой на ней и другая — с уже заправленной страницей.

«Боже мой! — подумал я. — До каких же высот возносится муза».

Глядя на поблескивающие столпы пишущих машинок, я вспомнил собственный рабочий стол: расцарапанный, заляпанный чернилами, бесподобно покрытый пылью. Стоит включить помятую жестяную лампу, думал я, и предстанут пепел и обгорелые спички; баночка табака, пожеванный грошовый держатель для ручек,

обрывки розовой промокашки, спичечные коробки, старые письма, и всюду — пыль. А еще я знал, что мой вид — когда я сяду за стол — будет совершенно неуместным.

Кэллан отстукивал на пишмашинке телеграмму.

— Она будет отправлена завтра в восемь утра, — сказал он.

Глава третья

Видимо, чтобы взбодрить меня, Кэллан дал почитать на ночь гранки своей следующей вещи. Вещи такой ужасной, что мне чуть не опротивели и он, и все его предложения. Я пытался читать; читать честно, чтобы уснуть под текст. Я был обязан старине Кэлу и хотел ему отплатить хоть чем-то — но это было невозможно. Я разобрал сюжет. История братоубийства с налетом адюльтера; на заднем плане проступала Великая Мораль. Без нее роман был бы скучным, но с ней — вовсе невыносимым. Поразительно, что Кэл заставлял себя писать такие вещи; что ему хватало наглости. Он же все-таки не дурак, никак не дурак. Я пришел в немалое отвращение.

Тогда я взглянул на текст с другой точки зрения. Может, я и не умею писать — или умею; но я все-таки умею различать откровенно, неприлично дурное, и клянусь, мысль, что и мне, чтобы продаваться десятитысячными тиражами, нужно цинично выдавать такие вещи, чуть не загнала меня обратно в затворничество. Кэллан начинал приблизительно с того же, с чего теперь начинал

я; уверен, в молодости и у него были идеалы — он даже немножко поголодал. Тяжело становилось от мысли, что, возможно, и я не больше чем очередной Кэллан; что, на исходе дней моих окинув взглядом жизнь, я увижу такой послужной список. На душе стало противно, и, когда я выключил свет, меня захватили кошмары.

Проснулся я, весь дрожа и стыдясь взглянуть Кэллану в глаза. Будто он узнает о моих ночных мыслях, будто примет меня за глупца, который осуждает собственный способ заработка. Но он ничем не обнаружил такую прозорливость — вел себя прилично и радушно; со смаком рассказывал о своем завтраке, вскрывал письма и так далее. Анемичная секретарша записывала за ним уместные ответы. Как тут сказать такому человеку, что я не согласен на предложенную работу, что я слишком горд и все такое прочее? Он бы принял меня за дурака и ожесточился, а я бы остался без своего последнего шанса. И при свете дня мне этого уже отнюдь не хотелось.

Он заговорил о пустяках; мы вышли на течение посредственной беседы. Переломный момент, если и был, уже ускользнул.

Какой-то мой однофамилец написал с просьбой лично засвидетельствовать писателю почтение

в тот же день. Эта перспектива немало обрадовала великого Кэла. Он привык к подобному — видел, пожалуй, в этом награду. Мы походя затронули вероятность, что автор письма — мой родственник; я в этом сомневался. У меня не было известных мне родственников; разве что удивительная тетушка, унаследовавшая акры и респектабельность Этчингем-Грейнджеров, но и она не из тех, кто восхищается романистами. Я, последний представитель своей семьи, находился вне подозрений, поскольку сам был писателем. Я все это объяснил, а Кэллан ответил что-то в духе того, как бывает тесен мир — или широк, уже не помню. После его апофеоза о своем родстве заявили целые стаи Кэлланов.

Я позавтракал. Потом мы заговорили о статье — меня до сих пор с души воротит от самой мысли о ней. Вы можете найти ее вместе с остальными; увидеть, как я бродил по жилищу Кэллана, его кабинету, столовой, романтическому саду, где ему было легче писать любовные сцены, — среди деревьев, подстриженных в виде павлинов, и деревьев, подстриженных в виде медведей, и прочего заднего фона для его уместных видов. Кэллана устраивал любой набор слов, в котором сквозило кроткое благоговение автора перед

ним.

— Да-да, — говорил он не раз, — отличный штришок, отличный — очень славно. Но не думаешь ли…

Через какое-то время мы отобедали.

Я был счастлив. Счастлив довольно жалким счастьем. Мне это давалось так легко. Я сомневался, что умею писать подобное — но оно писалось само собой, как, бывает, сами собой тратятся деньги, — и я собирался зарабатывать таким способом. Все мое прошлое казалось ошибкой — ребячеством. Я держался подальше от такого рода работы, потому что полагал ее ниже моего достоинства; я держался от нее подальше — и в итоге голодал и искалечил разум. Быть может, только навредил затворничеством своему творчеству. Чтобы понимать жизнь, нужно жить — а я лишь томился. Но, богом клянусь, теперь я собирался пожить.

Кэллан удалился на свою привычную сиесту, а я курил трубку за трубкой над умопомрачительно плохим французским романом, найденным на его полках. Должно быть, я задремал. Голос у меня за спиной объявил:

— Мисс Этчингем-Грейнджер! — и добавил: — Мистер Кэллан сейчас выйдет.

Я отложил трубку, гадая, стоит ли курить, когда Кэл принимает гостей, и встал.

— Ты! — резко сказал я.

— Как видишь, — ответила она. Она улыбалась. Она настолько не выходила у меня из головы, что я почти не удивился ее появлению — даже чувствовал приятную неизбежность.

— Так, значит, это ты моя двоюродная сестра, — сказал я. — Моя фамилия…

— О, зови меня просто сестрой, — ответила она.

Я был в подходящем настроении для фарса, раз уж его подбрасывал блаженный случай. Понимаете, я наконец собирался пожить — а жизнь для меня означала безответственность.

— Ах! — ответил я с иронией. — Ты, как говорится, будешь мне сестрой.

Может, вчера ночью, под лунным светом, она и вызывала у меня мурашки, но теперь… Чувствовалась по-прежнему и щекочущая нервы примесь опасности — таилась где-то в глубине. Но девушка была миловидна и стройна, и я не понимал, что могло мне навредить. Если бы и навредило, если бы я и угодил в неприятности, у меня не было ни родственников, ни единого друга, чтобы за меня волноваться. Я был один

как перст, и потому меня даже отчасти радовала мысль о неприятностях — это тоже та жизнь, о которой я мечтал. Меня как раз ждал заработок, а она возбудила мое любопытство. Мне не терпелось узнать, чего она добивалась на самом деле.

— Сам собой напрашивается вопрос, — сказал я, — что ты делаешь в этой… в этой… — Я не мог найти слова для этой комнаты — этого воплощения самодовольства под маской профессиональной богемности.

— О, я здесь по своим делам, — ответила она. — Я же рассказывала вчера вечером, или ты забыл?

— Вчера вечером ты собиралась унаследовать землю, — напомнил я, — и в таком случае с подобных мест не начинают. Тогда стоило навестить… ну… стоило навестить какого-нибудь политика… министра… скажем, Гарнарда. Вот он метит высоко, верно?

— Разумеется, — ответила она, — он метит высоко.

Вы, конечно, помните, что в те дни Гарнард считался не более чем темной лошадкой. Я плохо в этом разбирался и презирал политику в целом; она меня попросту не интересовала. Гарнарда я не любил беспричинно; быть может, из-за его малость загадочного лица — малость неприятного.

Короче говоря, в стране тогда не существовало оппозиции, а в кабинете боролись два течения — черчиллевское и гарнардское — и Гарнард был темной лошадкой.

— О, что-то у тебя не сходится, — сказал я любезно. — Если он метит высоко, что же тогда с тобой?.. Разве что и он из Четвертого измерения.

— О, мы оба — оба, — ответила она.

Я поневоле восхитился безмятежностью, с которой она превратила мои доводы в свои. И был очень доволен — мне-то все это казалось приятным дурачеством…

— Надеюсь, однажды ты скажешь, кто ты? — спросил я.

— Говорила, уже несколько раз, — ответила она.

— О, сегодня ты меня не напугаешь, — заверил я, — только не здесь, да и зачем тебе это?

— Я уже говорила, — повторила она.

— Ты сказала, что ты моя сестра, — сказал я. — Но моя сестра скончалась много лет назад. Впрочем, если тебе так нравится, если так хочется быть чьей-то сестрой…

— Хочется, — ответила она. — Понимаешь, мне же нужно место в этом мире.

Я знал, что с моей фамилией можно иметь

очень хорошее место в мире. Мы были Грейнджерами из Этчингема… о, да со времен потопа. И если эта девушка так хочет стать моей сестрой и Грейнджер, какого черта ей мешать, коль это позволит нам продолжать нынешние отношения? Я уже целую вечность не разговаривал с женщиной — по крайней мере, с такой красивой. Я словно вернулся из тех мест, куда пропадают младшие сыновья, — и кто знает, может, в наше время девушкам полагается выбирать себе даже братьев.

— О, расскажи еще, — сказал я, — кому не захочется узнать собственную сестру получше. Ты и достопочтенный Чарльз Гарнард — из Четвертого измерения. Кто еще будет из вашей братии?

— Только еще один, — ответила она.

И подумать только! Им оказался Фокс, редактор моего журнала.

— Ты выбираешь персонажей с очаровательной неразборчивостью, — сказал я. — Фокс, знаешь ли, болван; он-то далеко не уйдет.

— О, он уйдет очень далеко, — ответила она, — но только не дойдет. Фокс сражается против нас.

— О, так между вами вражда? — спросил я. — Вы сражаетесь со своими же.

— Мы сражаемся со своими же, — ответила

она. — Я буду загребать жар руками Гарнарда, а потом избавлюсь от него.

Это уже начинало утомлять. Понимаете, я-то в этой сцене видел завуалированное заигрывание — и хотел перейти к следующему шагу. Но приходилось выслушивать ее фантастические мысли об устройстве мира. Выходило, что идет дуэль между учредителем газет Фоксом и министром финансов Гарнардом. Фокс — вместе с министром иностранных дел Черчиллем и их сторонниками в качестве пешек — ставил, как он это называл, на Старую Нравственность против Гарнарда — циничного и аморального политика.

Я терял терпение. Хотелось покончить с этим и перейти к более тесному знакомству. Мне казалось, она выдумывает эти глупости, чтобы не дать расспрашивать о ее делах с Кэлланом. Но меня не интересовали ее дела; меня интересовала только любовь. Что до Фокса, Гарнарда и Черчилля — министра иностранных дел, который в самом деле был мне симпатичен и отстаивал политическую добросовестность, — возможно, на их примере она хотела аллегорически донести какие-то истины, но меня это не интересовало. Хотелось найти тему, которая могла бы уже увести от этого фарса с Четвертым измерением.

— Дорогая моя сестра, — начал я.

Но проклятый Кэллан передвигался, как чертов любитель подслушивать, носил мягкие тапочки и выскакивал из-за ширм. Наверняка у него и об этом был роман.

— Так, значит, она твоя сестра? — внезапно раздался его голос позади меня. — Как странно, что ты не узнал почерка…

— О, а мы не переписываемся, — легкомысленно ответил я. — Мы *такие* разные.

Мне захотелось подразнить это жуткое животное. Он равнодушно посмотрел на нее.

— Должно быть, ты та маленькая девочка, что я помню, — сказал он. Целую вечность назад он знал моих родителей. Так мы, собственно, и познакомились; сам бы я такого друга не выбрал. — Мне казалось, Грейнджер говорил, что ты скончалась… но так легко что-то спутать…

— О, мы очень редко видимся, — ответила она. — Артур мог ляпнуть и о том, что я скончалась, — от него всего можно ждать.

Она говорила с совершенно удивительной сестринской непринужденностью. Я начал видеть в ней гениальную актрису, так хорошо ей это давалось. Она в самом деле *была* благопристойной сестрой, а я — непутевым братом, чьи выходки

утомляют родичей. Такой она выбрала подход — и сохраняла его. Не знаю, какую пакость она в итоге задумала, да меня это и не волновало. Меня даже привлекало безумие этих сцен. Я собирался жить — и вот, пожалуйста, уже повстречал женщину. К тому же она выставляла Кэллана дураком, и мне это было по душе. Его снисходительные манеры действовали на нервы.

Помалкивая, я ей подыгрывал. Они заговорили об общих знакомых — всё как заведено. Казалось, оба знают всех на свете. Она напустила на себя вид «своей»; подтверждала знакомство с самыми невозможными людьми: моей напыщенной тетушкой, министрами и тому подобными персонажами. Они поговорили о них: она — так, будто вращалась в их кругах; он — так, будто вращался поблизости.

Она изображала уважение к нему, расточала комплименты, которые он проглатывал не глядя — даже не задумываясь. Я мысленно содрогнулся: трагично было видеть этого маленького великого человека перед такой женщиной. Меня поражала мысль, что на деле и я похож на него — вчера был в точности как он. Мне казалось, он нервничает, раскрывает небольшие секреты вопреки себе — небольшие секреты о «Часе», том

новом издании, куда я теперь писал. Похоже, им заправляла разношерстная компания со многими интересами. Был среди них зарубежный финансист — влиятельный человек и ее знакомый (благороден в *лучшем* смысле этого слова, сказал Кэллан); некий политик (она знала и его, и он не менее прекрасен, как сказал Кэллан), мистер Черчилль, какой-то художник, какая-то актриса — и сам Кэллан. Похоже, всем требовалась общественная поддержка. Кэллан, разумеется, выражался иначе. Подвернулась в разговоре и Великая — Нравственная — Цель, сам не знаю как. Не мог же он верить, что одурачит меня, а она, очевидно, знала всех этих людей получше него. Но вот, пожалуйста, заговорили и о Цели, каким бы фарсом это ни было. Зарубежный финансист — его они называли герцогом де Мершем — был филантропом масштабов мегаломаньяка. По каким-то международным причинам ему отдали во владение благоприятный край — Гренландию. Там были и золото, и ворвань, и что угодно прочее, приносившее доход, — но не доход был на уме у герцога де Мерша. Прежде всего он — основатель государства; по крайней мере, это его второй титул после правителя какого-то мелкого немецкого великого герцогства. Ни одна великая

держава не хотела отдавать Гренландию другой, вот ее и отдали герцогу де Мершу, у которого, по словам Кэла, имелась великая мечта: создать образцовое государство — самое образцовое, где отмытые и одетые эскимосы, возрожденные, озолочённые, будут жить бок о бок как равные с лучшими младшими сыновьями любого западного народа. Что-то в этом духе. Даже я не мог не впечатлиться, несмотря на то что расхваливал эту идею Кэллан; звучало в этой задумке что-то славное, а поддержка Черчилля, казалось, гарантировала честность ее воплощения.

Герцог де Мерш хотел проложить железную дорогу через Гренландию и потому нуждался в деньгах. Он предлагал британской общественности вложиться, а британскому правительству — поддержать дорогу, как было с не столь филантропическим Суэцким каналом. За это де Мерш предлагал отдать достойный порт и побережье на конце железнодорожной линии; британская общественность была бы вознаграждена бочками ворвани, золотом и сознанием того, что она пролила свет на темный уголок земли. Для того герцог де Мерш и открыл «Час». В «Часе» бы превозносили его высоконравственные цели, расхваливали правительство, воздействовали на

общественное мнение и в целом продвигали дело Системы Возрождения Арктических Регионов.

Я рассказываю об этом так легкомысленно потому, что услышал от Кэллана, а его невозможно воспринимать всерьез. К тому же меня это не очень-то увлекало. Что меня увлекало, так это наблюдать, как она вила из него веревки — выжимала все тайны досуха.

Я даже немного испугался за старину Кэла. В конце концов, он пошел мне навстречу, подыскал мне работу. А она казалась потенциально опасным человеком. С виду не поймешь — вдруг она какая-нибудь авантюристка, а в лучшем случае спекулянтка и может навредить каким бы то ни было планам Кэла. Так я и сказал ей об этом без обиняков, когда вез на вокзал; был так суров, как мог. Должно быть, она произвела на Кэллана большое впечатление, иначе бы он ничего при ней не выболтал.

— Знаешь, — начал я, — я не потерплю, если ты задумала сыграть с Кэлланом злую шутку, особенно пользуясь моим именем. Пока дело касается меня, оно в твоем распоряжении — но, черт подери, если собираешься причинить ему вред, мне придется тебе помешать — рассказать ему.

— Не получится, — ответила она совершенно

спокойно. — Ты уже подставил свою шею. Ему не понравится, что ты позволил этому зайти так далеко. Ты лишишься работы и будешь жить… ну знаешь, будешь жить…

Меня поразила завуалированная угроза среди наших любезностей. Это было нечестно — совершенно нечестно. Отчасти вернулась прежняя тревога, вспомнилось, что на самом деле она опасна; что…

— Но Кэллану я ничего не сделаю, — сказала она вдруг, — можешь не волноваться.

— Правда не сделаешь? — спросил я.

— Правда.

Я поверил ей с большим облегчением. Не хотелось с ней ссориться. Понимаете, она меня интриговала, действовала на меня тонизирующе, будоражила — и ставила в тупик… И к тому же в ее словах имелось зерно истины. Я уже подставил шею и не хотел остаться без работы, признавшись Кэллану в том, что одурачил его.

— Тогда больше меня ничего не волнует, — сказал я.

Она улыбнулась.

Глава четвертая

Я повез в город статью о Кэллане с его письмом Фоксу, полным теплых рекомендаций. Я вел себя очень послушно: принимал правки, не скупился на похвалы, заискивал и в то же время умудрился сохранить благородную интонацию редакторского «мы». О большем Кэллан и не просил.

Мне было велено найти Фокса, и найти немедленно. Дело становилось срочным. В редакции его не оказалось — новенькой редакции, которую я потом видел в стадии и делового уюта, и пыльного небрежения. Мне сказали спросить его у служебного входа Букингемского дворца.

Я дожидался в стеклянной привратницкой у дворца. Подозрительный привратник косился на меня с презрением, которое здесь приберегают для безработных. Безработные, как правило, голодные просители. Тем временем посыльные разыскивали мистера Фокса. «Кто-нибудь видел мистера Фокса?» — «Он ушел на обед».

— Мистера Фокса нет, — объявил привратник.

Я объяснил, что дело срочное. И снова посыльные пропали за створчатыми дверями.

Через стеклянную будку проходили непривлекательные персонажи, искоса бросая на меня враждебные взгляды. Наконец пришел ответ:

— Если это мистер Этчингем-Грейнджер, пусть он немедленно отправляется за мистером Фоксом к миссис Хартли.

И я отправился к миссис Хартли — в маленькую квартиру, расположенную в районе, название которого уточнять здесь не буду. Выдающийся журналист обедал с выдающейся актрисой. Присутствовал муж — пустое место с тяжелыми светлыми усами, что-то бормотавший, поглядывая на часы.

Мистер Фокс оказался круглолицым мужчиной с убедительными, властными манерами. Миссис Хартли… что ж, она была просто миссис Хартли. Вы, конечно, помните, как мы все влюбились в ее фигуру, и ее характер, и голос, и жестикуляцию. Этими самыми руками она преломляла хлеб; этим самым голосом она говорила с мужем; с тем же самым грациозным мастерством управляться с ворохом юбок вставала из-за стола. Она строила глазки мне, мужу, коротышке Фоксу, тому, кто принес спаржу, — свои большие и круглые серые глаза. Всегда одна и та же. На ее вечной костюмированной репетиции никогда не опускался

занавес. Неудивительно, что ее муж постоянно смотрел на часы.

Мистер Фокс был другом семьи. Он отмахнулся от формальностей, прочитал мою рукопись прямо за рокфором и, похоже, нашел, что с ней вкус только лучше.

— Вы напишете для мистера Фокса обо мне, — сказала миссис Хартли, переводя свои огромные серые глаза на меня.

Они были такими нежными. Словно слали волны сочувствия и понимания. Я вспомнил другие, что пускали острые лучи.

— Неужели? — сказал я. — Мне и правда говорили, что я буду писать о ком-то для «Часа».

Фокс поставил на мою рукопись пустой стакан.

— Да, — резко заявил он. — Думаю, он подойдет. Хм, да. Что ж, да.

— Вы же друг мистера Кэллана, верно? — спросила миссис Хартли. — Что за любезный, славный человек! Вы бы видели его на репетициях. Вы же знаете, я играю в его «Болдеро»; он дал мне совершенно чудную роль — совершенно чудную. И как он скрупулезен. Лично проверил все кресла на сцене.

— Хм, да, — вставил Фокс, — ему нравится все делать по-своему.

— Не *все* ли мы такие? — ответила великая актриса.

Она цитировала свою первую великую роль. Я вдруг подумал — но, скорее всего, напрасно, — что все ее слова — это какие-либо цитаты из первой великой роли. Ее муж посмотрел на часы.

— Ты собираешься на эту проклятую цветочную выставку? — спросил он.

— Да, — сказала она, переводя свои таинственные глаза на него. — Пойду приготовлюсь.

Она пропала за дверью. Я уж думал услышать выстрел из пистолета и тяжелый стук падения. Даже забыл, что это не конец пятого акта.

Фокс убрал мою рукопись во внутренний карман.

— Идем, Грейнджер, — сказал он, — нам надо поговорить. На миссис Хартли ты еще насмотришься. Она десятая в твоем списке. Доброго дня, Хартли.

Рука Хартли колебалась между усами и карманом для часов.

— Доброго дня, — хмуро отозвался он.

— Обязательно приходите еще, мистер Грейнджер, — окликнула меня, приоткрыв дверь, миссис Хартли. — Приходите в Букингем и посмотрите, как мы ставим пьесу вашего друга.

Нам предстоит долгий разговор, если вы хотите уловить мой личный колорит, как это называет мистер Фокс.

> *И навести на лилию белила,*
>
> *И лоск на лед, и надушить фиалку...*[5] —

процитировал я в ответ банальность.

— Точно, — ответила она с нежной улыбкой.

Она застегивала пуговицу перчатки. Сомневаюсь, что она узнала цитату.

Когда мы сели в кеб, Фокс начал:

— Очень рад тому, что увидел в твоей статье. От тебя я такого не ожидал. Можно подумать, это немного ниже тебя, понимаешь? Ой, знаю, знаю. Вы, литераторы, обычно вовсе не практичны — понимаешь, что я имею в виду. Кэллан сказал, ты — что надо. Кэллан полезен; но не отдавать же всю газету ему. У меня есть и свои интересы. Но ты подходишь; всё в *порядке*. Ты же не против моей откровенности?

Я пробормотал, что мне она даже по душе.

— Ну что ж, — продолжил он, — тогда я спокоен.

---

[5] Примечания: 5

Уильям Шекспир «Король Иоанн» (пер. Н. Рыковой).

— Очень рад, — проговорил я. — Хотел бы быть спокоен и я.

— О, все будет хорошо, — воскликнул Фокс. — Смею угадать, что Кэллан отвратил тебя от такой работы, особенно если ты к ней не привычен. Но с другими будет проще. К тому же есть и Черчилль, он следующий.

— Какой Черчилль? — уточнил я.

— Министр иностранных дел.

— Вот черт, — сказал я.

— О, с ним легко, — успокоил меня Фокс. — Ты отправляешься к нему завтра. Все уже обговорено. Вот мы и приехали. На выход.

Он последовал собственным словам и ловко взбежал по новеньким терракотовым ступенькам редакции «Часа». Расплачиваться с кебменом он предоставил мне.

Когда я его нагнал, он отдавал указания кому-то не видимому за створчатыми дверями.

— Идем, — сказал он, запыхавшись. — К нему нельзя, — добавил он мальчику, державшему в руках карточку. — Лучше отправь его к мистеру Эвансу. Здесь ни на минуту невозможно расслабиться, — продолжил он, подходя к своей двери.

Это оказались роскошные хоромы с белой и золотой меблировкой — Людовик XV или что-то в

этом роде — и новыми картинами в стиле Ватто на стенах. Впрочем, уже начался процесс преображения. Перед одним из высоких окон стоял рабочий стол с откатной крышкой, меньше всего напоминавший стиль Людовика XV; на ковре виднелись отпечатки грязных туфель, а один конец комнаты отгораживался дощатой ширмой.

— Привет, Эванс! — крикнул Фокс через ширму. — Прими человека из «Грантса», хорошо? И что-нибудь слышно из «Центральных новостей»?

Он начал просматривать бумаги на столе.

— Еще нет, только что звонил им в пятый раз, — раздался ответ.

— Продолжай в том же духе, — приказал Фокс. — Вот письмо Черчилля, — обратился он ко мне. — Садись в кресло; эти проклятые штуковины ни для чего не удобны. Уж постарайся расположиться как сможешь. Скоро вернусь.

Я сел в мягкое кресло с подлокотниками и принялся за письмо министра иностранных дел. В нем согласие на потенциальное интервью давалось со скучающим терпением, но и это, похоже, обрадовало Фокса. Он вбежал, схватил со своего стола бумажку и выбежал опять.

— Прочитал письмо Черчилля? — бросил он

походя. — Сейчас все объясню.

Не знаю, чего он от меня ожидал — что я поцелую марку, что ли?

И все-таки было приятно спокойно сидеть посреди суеты и переполоха. Казалось, я наконец вступил в тесную связь с настоящей жизнью — жизнью, которая что-то значит. Теперь и я стал человеком. Фокс говорил со мной с неким почтением — будто я какая-то большая тайна. А мне пришлось по душе его обращение «Вы, литераторы». Это поклон претендента законному принцу, скромность конвейерной имитации перед лицом подлинника, уважение строителя к архитектору.

«Ах да, мы, простой рабочий люд, возводим дома ряд за рядом, — казалось, говорил Фокс, — годами строим целые города и заполняем бумажки. Но когда нужно что-нибудь особенное — что-нибудь монументальное, — нам приходится обращаться к вам».

Снова примчался Фокс.

— Прошу простить, старина, ни минуты покоя, чтобы поговорить. Слушай-ка, пойдем со мной на ужин в «Параграф», сразу за углом, — сегодня вечером ровно в шесть. К Черчиллю ты отправляешься уже завтра.

Клуб «Параграф», где я должен был встретиться

с Фоксом, оказался одним из тех заведений, что спорадически возникают в окрестностях Стрэнда. Быть сразу за углом — одно из их обязательных свойств; второе — слишком фамильярные слуги; третье — многолюдность, причиняющая, по мнению членов клуба, ущерб удобству отдельного клиента.

В данном случае на ужин опоздал Фокс. Я сел в небольшой курительной комнате и, скрываясь за запоздало взятой утренней газетой, прислушивался к беседе трех-четырех журналистов — членов клуба. Я чувствовал себя как новенький в школе при первом знакомстве с одноклассниками.

В кресле перед камином дремал дряхлый театральный критик. К ужину он проснулся, заявил: «Вы бы видели Фанни Эльслер[6]», — и заснул опять.

На красном бархатном диване раскинулся *beau jeune homme*[7] с галстуком парижско-американского студента. В кресле рядом с ним сидел персонаж, кого я — возможно, из-за отсутствия

---

[6] Примечания: 6

Фанни Эльслер (1810–1884) — австрийская танцовщица, прима-балерина Парижской оперы.

[7] Примечания: 7

Красивый молодой человек.

придыхательных согласных — принял за видного иностранца.

Они беседовали об изумительной теме для какого-то мюзик-холльного драматического очерка — судя по всему, о водителе омнибуса.

Потом я услышал, что мой француз был зеленщиком, а теперь стал наполовину журналистом и наполовину финансистом, а мой исследователь искусства — сотрудник одного из старинных изданий.

— Ужин подан, господа, — объявил слуга с порога. Он подошел к спящему у камина. — Видать, скоро мистер Каннингем протрет кресло до дыр, — бросил он через плечо.

— Бедолага — ему больше некуда податься, — сказал сотрудник журнала.

— Почему бы не в работный дом? — вставил журналист-финансист. — Так сделаешь из этого хороший очерк? — продолжил он, возвращаясь к своему водителю омнибуса.

— Всенепременно! — равнодушно отозвался работник журнала.

— Ну же, мистер Каннингем, — сказал слуга, коснувшись плеча спящего. — Ужин подан.

— Благослови боже мою душу, — воскликнул театральный критик, резко очнувшись. Слуга

вышел. Критик украдкой достал из кармана жилета вставные зубы, протер шейным платком и вставил в рот. Затем поплелся из комнаты.

Я встал и решил рассмотреть графические зарисовки пером и тушью на стенах.

От вида поблекших жалких карикатур на поблекших жалких знаменитостей, что уставились из засиженных мухами рамок на пурпурных стенах, меня едва ли не передернуло.

— А вот и ты, Грейнджер, — раздался позади меня бодрый голос. — Идем ужинать.

Я пошел за Фоксом. Ужин был приправлен мелкими шутками и скудными характерами. Немецкий журналист — по всей видимости, музыкальный критик — справился о происхождении тощего фазана. Фокс ответил, что его хранили на заднем дворе. Театральный критик пробормотал что-то неразборчивое о какой-то постановке, которую сняли из репертуара «Адельфи». Я отсутствующе улыбался. Потом Фокс тихо ввел меня в курс дела относительно нового ежедневника. В его версии — безо всякого гламура «нравственной цели» — дело обстояло довольно безыскусно. Мрачная комната наводила уныние, а газета оказалась ровно тем самым, чего я столько лет избегал. Фокс нависал над моим ухом и шептал.

В его шушуканье слышались разные оттенки. Некоторые из «своих» людей, намекал этот голос, пришли вовсе не ради высоких идеалов; другие — ради них, и его тон становился почтительным, намекая, чтобы я делал выводы.

— Конечно, у такого человека, как наш достопочтенный мистер Ч., который работает честно… совершенно честно… у него должен быть полуофициальный сторонник… В данном случае это я… «Час». Между ними хватает раздоров — я имею в виду, у министров… Говорят, Гарнард играет грязно… *говорят*.

Его широкое красное лицо так и светилось, когда он склонился к моему уху, его голубые как море глаза поблескивали от влаги. Он просвещал меня осторожно, с обиняками. И чувствовалось во всем этом что-то злачное — не в самом Фоксе, а *во всем*. Хотелось, чтобы он уже прекратил свои объяснения — я не хотел их слышать. Никогда не хотел знать истинное положение вещей; предпочитал принимать мир за чистую монету. Откровения Кэллана — это еще куда ни шло из-за фарсовой помпезности его манер. Но теперь совсем другое дело, эти слова несли на себе печать правды — видимо, из-за их скверности. Мне не хотелось знать, что наш министр иностранных

дел замешан в подобном хотя бы отдаленно. Для меня он был только символом, но все-таки стоял за непоколебимость государства и за добросовестность.

— Разумеется, — продолжал Фокс, — команде Черчилля хотелось бы и дальше воротить от нас нос. Но так не пойдет: либо они обратятся к нам, либо вовсе останутся ни с чем. Гарнард подкупил всю их старую партийную прессу, так что им придется начинать заново.

Вот в чем дело, именно в этом. Черчиллю и полагалось воротить нос от таких, как мы, — любой ценой. Вот чего я требовал от мира в моем понимании. Так было намного легче думать. С другой стороны, это все-таки жизнь — а я теперь жил, и цена этой жизни — разочарование; цена, которую, хочешь не хочешь, платить придется. Очевидно, и у министра иностранных дел должен быть свой полуофициальный орган — ну, или так оно получалось…

— Помни, — шептал дальше Фокс, — сам-то я думаю, что зря он поддерживает дело с Гренландией. Оно *не совсем* чистое. Зато прибыли принесет до черта, к тому же не стоит забывать о национальном интересе. Если бы не согласилось нынешнее правительство, согласилось бы другое

— и это бы только дало Гарнарду и многим другим козырь в игре против Черчилля и его людей. Мы не можем себе позволить остаться без угольных шахт в Гренландии или где угодно. И помни, если мистер Ч. в деле, лучше него об интересах ниггеров не позаботится никто. Понимаешь положение, а?

На самом деле я не слушал, но время от времени для приличия кивал. Я знал: он хочет, чтобы этой линии я держался во всех конфиденциальных разговорах. И вполне с этим смирился. И к слову, какая-то уверенность — или, возможно, не больше чем чутье — говорила мне, что та девушка тоже во всем этом замешана, что и ее тень мелькает где-то на экране среди остальных. Хотелось спросить Фокса, знаком ли он с ней. Но самое нелепое — я до сих пор не знал ее имени, да и моя история показалась бы ненормальной. Сейчас мне было выгодно, чтобы Фокс не сомневался в моем здравомыслии. К тому же такой вопрос был попросту не к месту — ведь тогда я ее еще идеализировал. О таких девушках не заговаривают в курительном салоне, полном мужчин и их баек, и уж точно не с Фоксом.

Музыкальный критик бродил по комнате под неусыпным наблюдением Фокса. Вдруг он ото-

двинул кресло и направился к нам.

— Приветствую, — заговорил он с напускным добродушным видом сытого человека, — о чем беседуете?

— Частное дело, — ответил Фокс, не поведя и бровью.

— Значит, я мешаю? — пробормотал гость.

Фокс не ответил.

— Работу хочет, — сказал он, провожая взглядом смущенного немца. — Но, как я говорил — о, выгода есть для всех. — Он помолчал, переведя взгляд на меня.

Начал рассказывать о финансовой стороне дела: герцог де Мерш, Кэллан, миссис Хартли и остальные из списка вместе открыли газету, в редакторы которой взяли Фокса, чтобы окупить свои затраты, чтобы рука руку мыла, чтобы… Прямо как тот дом, который построил Джек. Я задумался, кто в данном случае Джек. Точно — вот главный вопрос. Все зависело от ответа на него.

— Действительно, — сказал я. — Дельце выглядит славно.

— Конечно, тебе интересно, какого черта я тебе все это выкладываю на блюдечке, — продолжал Фокс. — Дело в том, что ты все равно это услышишь, пусть и не от меня, и немало лжи в

придачу. Но я уверен, что ты человек, который уважает доверие.

Я не поддался лести. Я не хуже Фокса знал, что он только пускает пыль в глаза, говорит — как сам и признался — не правду, а только то, что я все равно услышу. Я ничего не имел против Фокса — такова уж эта игра. Но весь вопрос в том, кто такой Джек? Вдруг — сам Фокс… Вдруг в той галиматье, что городила фантастическая девушка, было зерно истины. Фокс — и прямо, и фигурально выражаясь — мог заправлять командой из герцога де Мерша и мистера Черчилля. Мог поддерживать иностранного правителя-филантропа и основателя государства в одной упряжке с британским министром иностранных дел в битве против довольно зловещего канцлера казначейства, мистера Гарнарда. Фоксу это может быть на руку; возможно, он сам вложился во что-то, зависевшее от успеха гренландского протектората де Мерша. Помните, я отлично понимал, что Фокс — птица высокого полета, из тех, что всегда остаются за кулисами, — возможно, потому, что не вышли лицом и сами смотрелись бы на сцене плохо. И теперь я понимал, что раз уж ради «Часа» он бросил полдюжины других своих предприятий — а именно это он и сделал, — это

должно стоить того. Это не просто должность редактора в газете; на кону что-то намного важнее. Опять же, и у моей юной дамы из другого измерения может быть интерес, зависящий от канцлера казначейства. Поэтому она аллегорически говорит о своем альянсе с Гарнардом против Фокса и Черчилля. Я в подобных делах был откровенным профаном, но смутно понимал, что нечто в этом роде вполне возможно.

Это не толкнуло меня пойти на попятный, но все-таки очень хотелось, чтобы все было иначе. Сам я впутался в это предприятие с незапачканными руками — и пачкать их не собирался; а в остальном я отдавал себя в распоряжение Фокса.

— Понимаю, — сказал я решительно. — Я буду иметь дело со всеми владельцами — по сути, я и буду мыть им руки; и ты не хочешь, чтобы я опростоволосился.

— Что ж, — ответил он, вглядываясь в меня своими голубыми глазами, — все-таки об этом лучше знать сразу.

— Об этом лучше знать сразу, — вторил я.

И он был прав.

Глава пятая

Я вышел в ночную тьму твердым шагом, с новой уверенностью. Меня ждало интервью, все было определенно — первая определенная вещь в моей новой жизни; и я чувствовал, что перед сном должен рассказать об этом Ли. В былые времена Ли немало мне помогал — если на то пошло, помогал всем. Его влияние наверняка можно найти в истоках творческого пути всех писателей моего десятилетия — у всех, кто написал что-то сколько-нибудь приличное, и у некоторых из тех, кто так и не расцвел. Он оказывал мне материальную помощь, какую мог дать профессиональный рецензент издательства, пока его профессиональная репутация не пошатнулась, и советами способствовал как никто другой. Со временем я стал стыдиться этой односторонней дружбы. Отчасти поэтому я и сбежал от толпы — в хижину на опушке леса и ко всему прочему, что теперь кажется юношеской глупостью. Я стремился жить один, не зависеть от чужой помощи, пока не смогу отплатить хоть *как-то*. Естественный итог: я растерял почти всех друзей

и остался гол как сокол.

Вокруг простирался неохватный город — неохватная тьма. Мимо спешили люди — тысячи людей, и все со своими делами, своими целями, знакомыми, чтобы беседовать, проводить время. Но у меня не было никого. В этом неохватном городе, неохватной тьме для меня не было дома. Только фасады, пусто глядящие окна, закрытые двери, но внутри — ничего: ни комнат, ни укромного уголка. Здания ничего для меня не значили — не больше земли, на которой стояли. Ли оставался единственным, мысль о ком не была сродни воспоминаниям о старой завалявшейся паре перчаток.

Где он только не жил. Будучи профессиональным читателем, он оценивал коммерческий потенциал рукописей, которые неизвестные авторы слали его работодателю, и, полагаю, имел план на жизнь — план, по которому оказывался в радиусе некоторых мест через вроде бы непредсказуемые, но наверняка обоснованные периоды времени. Казалось всего лишь удачным совпадением застать его тем вечером в комнатушке в одном из переулков Блумсбери. Он небрежно раскинулся в плетеном кресле, окруженный ворохами рукописи — серого шрифта в пене

грязной бумаги. Он поднял взгляд на меня, когда я ступил на его порог.

— Здравствуй! — воскликнул он. — Что тебя привело? Принес рукопись? — он неопределенно обвел рукой комнату. — Найди где присесть.

На полу рядом с ним стояла бутылка кларета. Он взял ее за горлышко и передал мне.

Затем снова опустил глаза и продолжил чтение. Я снял с кресла три увесистые стопки формата фолио и уселся позади него. Он читал дальше.

— Этого жилья я еще не видел, — сказал я, лишь бы сказать хоть что-нибудь.

Мебели было не то чтобы много, но стояла она где попало. Большой сервант красного дерева; обычный стол; удивительный складной умывальник; книжный шкаф, плетеное кресло и еще три сиденья, все — из разных гарнитуров. На мраморной каминной полке стояли три репродукции голландских мастеров; на окнах — полосатые шторы. Между ними висело дешевое зеркало квадратной формы, над ним бритва. На полу, на креслах, на серванте, на незаправленной постели — изобилие рукописей.

Он что-то накорябал на голубой бумажке и начал скручивать сигарету. Снял очки, протер, зажмурил глаза.

— Что ж, а как дела в Сассексе? — спросил он.

Меня вдруг захлестнула, по сути, ностальгия. Стало ошеломительно ясно, что я действительно схожу со старой колеи, окончательно разрываю с прежней жизнью. Понимаете, Ли символизировал все самое лучшее в образе мыслей, который я теперь отбрасывал. Он символизировал благородные устремления. Мрачность, тяжелые думы — все эти ребячьи свойства привнесены мной. Было даже совестно признаваться ему, что… что я собирался начать жить. Привлекательность настоящей жизни поблекла, будто погасла одна из двух свечей, при свете коих я читал. Но я все-таки сказал, что наконец нашел работу.

— О, поздравляю, — ответил он.

— Понимаешь, — начал я оправдываться прежде возражений, которые он и не успел еще сформулировать, — это будет полезно даже для моего творчества: я еще толком не повидал жизнь, чтобы…

— О, ну конечно, — ответил он, — это полезно. Должно быть, тебе пришлось совсем непросто.

Это мне показалось отвратительно несправедливым. Я пошел в «Час» не потому, что устал от бедности, а по другим причинам: я чувствовал, как гибнет моя душа.

— Тут ты ошибаешься, — сказал я. И все объяснил.

— Да-да, — ответил он, но я так и представлял, как про себя он добавляет: «Все так говорят».

И я рассердился. В какой-то мере я всегда жил с оглядкой на мнение Ли. Много лет я писал не только на свой вкус, но и на его, и его холодность остудила мой пыл. Он думал, я не вкладываю в работу душу, а я не хотел, чтобы Ли так обо мне думал. Я попытался это объяснить, но было трудно, а он не шел навстречу.

Я знал, что он помогал подняться на крыло и другим, только чтобы в конце концов увидеть, как они растворяются в безвестности. А теперь он так думал и обо мне…

— Послушай, — сказал он, вдруг меняя тему, — взгляни-ка на это.

Он бросил мне на колени тяжелую, перевязанную ленточкой стопку бумаги и продолжил готовить отчет о продаваемости книги. По его мнению, она была слишком утонченна и хороша, чтобы заинтересовать целевую аудиторию его издателя. Я принялся читать, чтобы отвлечься от своих мыслей. Перед мысленным взором до сих пор стоят тот жирный почерк и черные буквы. Видимо, вещь была неплоха, но, наверное, не

настолько, как мне показалось тогда — я уже не помню из нее ни слова, зато помню, как мы потом повздорили: я стоял за публикацию, а он — против. Я думал о несчастном авторе, чья судьба зависла на волоске. Его потенциал так и остался жалким зернышком, скрытым в сердце белой бумаги со слишком хорошим текстом, чтобы его издавать. Пренебрежительность Ли даже ужасала: «О, это слишком хорошо!» Он к такому уже привык, но я, отстаивая неизвестного писателя, вдруг почувствовал, что отстаиваю самого себя, заверяю в качестве своих лучших работ. Все, что Ли говорил об этом произведении, об этом человеке, относилось и к моему творчеству, и ко мне самому.

— Для подобных вещей нет рынка, нет публики; эта книга уже обошла все издательства. Я на подобное насмотрелся. Он никогда не добьется известности, он уже открыл свою гостиницу — и это его убьет.

Так он сказал, и говорил словно бы обо мне. Кто-то стучался в дверь — робкий стук пухлых костяшек. Звук из тех, что замечаешь не сразу. Гость, должно быть, простоял у дверей минут десять. Оказалось, это работодатель Ли — издатель моей первой книги. Наконец он открыл дверь и

вошел с довольно важным видом. Чувствовалось, он собирался с духом, устрашенный интеллектом Ли, но твердо настроенный не пасовать перед ним.

Когда я представился — мы никогда не встречались лично, — прервав его начатую фразу, я словно сбил его с курса, но он, смутно признав возможность моего существования, начал заново.

Дело было довольно деликатным. Лично я сомневался бы, стоит ли о нем говорить в присутствии постороннего, даже такого недостойного внимания, как я. Но мистер Поулхэмптон не сомневался. Ему еще надо было успеть на почту до закрытия.

Как оказалось, Ли рекомендовал издать рукопись некоего Хаудена — умеренно известного писателя…

— Но от своей дочери я с тревогой слышу, мистер Ли, что рукопись… вовсе не годится… Более того, она на самом деле… и… э-э… Полагаю, уже поздно идти на попятный?

— О, для *этого* уже совсем поздно, — небрежно ответил Ли. — К тому же теории Хаудена продаются всегда.

— О да, конечно-конечно, — спешно перебил мистер Поулхэмптон, — но вы не думаете ли…

Я имею в виду, если учесть, какой вред это может принести нашей репутации… что нам стоит уговорить мистера Хаудена принять, скажем, на пятьдесят фунтов меньше, чем…

— Полагаю, это прекрасная мысль, — сказал Ли. Мистер Поулхэмптон посмотрел на него с подозрением, потом обернулся ко мне.

— Понимаете, — начал объяснять он, — в таких вещах нужно быть *очень* осторожными.

— О, я все понимаю, — ответил я.

Было что-то наивное в его убежденности, будто я ему посочувствую. И он наконец преподал мне урок, как набожные тучнеют за счет неправедных. Впрочем, мистер Поулхэмптон тучным не был. Вообще-то он был довольно худым, а его седые волосы выглядели всклокоченными, несмотря на следы тщательной укладки. С его лица никогда не сходило нервное выражение. Говорили, он спекулировал на каких-то акциях, и я могу подтвердить, что говорили правильно.

— Я… э-э… полагаю, я издавал вашу первую книгу… Я на ней потерял, но уверяю, что не держу обиды… почти сотню фунтов. Но я не держу обиды…

Он был совершенно искренен. Он и понятия не имел, что меня это может оскорбить; он правда

хотел быть любезным, и снисходительным, и всепрощающим. Я не почувствовал себя оскорбленным. Одежда была ему мала — по крайней мере, такое создавалось впечатление, — и он носил черные лайковые перчатки. Его взгляд не отрывался от лепнины на потолке. С того вечера я видел его довольно часто, но никогда без перчаток или с опущенными глазами.

— И… э-э… — начал он, — чем занимаетесь нынче, мистер Грейнджер?

Ли ответил, что меня принял к себе Фокс, что я далеко пойду. Я вдруг вспомнил, как говорили о Фоксе: все, кого он к себе принимал, «далеко пошли». По крайней мере, это явно видел мистер Поулхэмптон. С удивительной внезапностью он распрямился; мне это напомнило, как резко закрывается непослушный зонтик. Он стал комично и неумело учтивым — выразил надежду, что мы еще посотрудничаем в будущем; вновь напомнил, что издавал мою первую книгу (но теперь уже совсем другим тоном), и обрадовался, что в Сассексе мы соседи. Мой коттедж оказался в шести километрах от его виллы, мы даже состояли в одном гольф-клубе.

— Нужно как-нибудь выбраться на игру, а то и несколько, — сказал он. Он казался человеком,

которому непросто найти с кем играть.

Затем он удалился. Как я уже сказал, он не стоил того, чтобы о нем и задумываться; но его образ мыслей, внезапная их смена меня растревожили. Это уже с абсолютной ясностью доказывало, что я «далеко пойду», а я этого не хотел — не в этом смысле. Это не так-то просто объяснить: я нуждался в работе — ненадолго, на год-другой, — потому что нуждался в деньгах, но если пойти «далеко», то искушение продолжать станет слишком сильным, а я не был уверен, что с ним справлюсь. Столь многие уже ему поддались. А что, если написать Фоксу об отказе?.. Ли снова с головой погрузился в рукопись.

— Мне отказаться? — спросил я вдруг. Хотелось решить раз и навсегда.

— О, да соглашайся, непременно соглашайся, — ответил Ли.

— И?.. — спросил я робко.

— Это твой шанс передохнуть, — подсказал он, — тебе же было тяжело.

— Наверное, если мне уже не хватило стойкости отказаться, — задумался я, — я мало что из себя представляю.

— И с этим не поспоришь, — заметил Ли. — Игра может не стоить свеч. — Я молчал. — Но

все-таки надо хватать свой шанс, когда он выпадает, — добавил он.

Он продолжил читать, но снова поднял глаза, когда после размышлений я все-таки сдался.

— Ну конечно, — сказал он. — Да все будет в порядке. Ты отлично справишься. Это хорошо… и может даже быть для тебя полезно.

Так и было принято решение. Уходя, я вдруг вспомнил:

— Кстати говоря, а ты ничего не знаешь о кружке «Измерение» — «*Четвертое* измерение»?

— Впервые слышу, — покачал головой он. — А чем они занимаются?

— Собираются унаследовать землю, — ответил я.

— О, удачи им в этом деле, — сказал он.

— А ты сам, случаем, не из них? Как я понимаю, это тайное общество.

Но он уже не слышал. Я ушел молча.

Ночь в этом конкретном районе всегда действовала на меня угнетающе. В этот раз она меня растревожила — растревожила так же, так же подействовала на нервы, как та долина, где я шел с непонятной девушкой. Вспомнилось, как она говорила, что несет с собой будущее, что она символ моей собственной погибели — словом,

вспомнилась вся ее чепуха. Я успокаивал себя тем, что просто устал, не в своей тарелке и тому подобное, что я открыт на милость любого кошмара. Я нырнул в Саутгемптон-роу. Прохожие, толпа, даже когда толкали меня, приносили с собой чувство безопасности.

Глава шестая

Была суббота, и министр иностранных дел, как было у него заведено, удалился от дел до понедельника в свой небольшой загородный домик неподалеку от Лондона. Я отправился туда с письмом от Фокса в кармане и уже во второй половине дня обнаружил, что безо всякого стеснения беседую с тетей министра — пожилой стройной дамой с внимательным взглядом и обширными познаниями в европейской политике. У нее были довольно резкие манеры, одежду она носила деловых коричневых оттенков. Она смотрела мне прямо в лицо со всей той проницательностью, благодаря которой, гласили слухи, имела тайное, но очень существенное влияние на формирование нашей внешней политики. Не успел я задать и первого своего вопроса, как она словно меня взвесила, нацепила ярлык и положила на полку.

— Вы наверняка хорошо знаете эту часть страны, — сказала она.

Я было решил, что она подумывает взять меня в политические агитаторы ее племянника — мелочь, но это все-таки стоило иметь в виду ближе

к следующим выборам.

— Нет, — сказал я, — никогда здесь не бывал.

— Ведь Этчингем всего в пяти километрах отсюда.

Было необычно слышать, как обо мне судят по фамилии. Я вдруг понял, что мисс Черчилль терпит меня только из-за этого — что меня считают одним из этчингемских Грейнджеров, который увлекся литературой.

— Встречала намедни вашу тетушку, — продолжила мисс Черчилль.

Она со всеми встречалась намедни.

— Да, — откликнулся я без особого интереса.

Любопытно, о чем они могли говорить. Мы с тетушкой никогда не ладили. Она была большим именем в своем уголке мира, великой вдовствующей помещицей — бедной как мышь и респектабельной как несушка. К тому же увлекалась политикой в духе мисс Черчилль. А я — ни помещик, ни респектабельная личность, ни политик — признания не заслуживал, хотя и знал, что ради нашей фамилии она бы не стала распространяться о моих недостатках.

— Тетушка уже нашла себе компаньонку? — спросил я рассеянно.

Вспомнился давний рассказ моей матери. Мисс

Черчилль снова посмотрела мне прямо между глаз. Думаю, она готовилась наклеить на меня новый ярлык. Только что я стал язвительным шутником. Возможно, сгожусь для политической сатиры.

— Разумеется, — сказала она с еле заметной искоркой в глазах, — миссис Грейнджер приняла в семью племянницу.

То мамино предание гласило, что во время весьма сомнительных выборов, в которых тетушка сыграла важную роль, стены города украсил радужный плакат. «Кто заморил голодом ее экономку?» — гласил он.

Упоминание о тех выборах выставило меня в новом, лестном свете в глазах мисс Черчилль. Я и не заметил, как показал себя равным ей, не каким-то обычным журнальным писакой. Собственно, я стал теперь не представителем «Часа», а этчингемским Грейнджером, которого сила обстоятельств толкнула на поприще журналистики. Так начал проясняться мой подход для будущих интервью. С одной стороны, я «свой», лишь временно сбившийся с пути; с другой, я этакий прислужник великого писателя.

Позади мисс Черчилль мягко отворилась боковая дверь. Эта тактичность многое сообщала.

Дверь словно говорила: «К чему шум и напор?» Ее словно толкнул глубокомысленный человек, чей разум отягощен заботами. На пороге стоял высокий седой мужчина, опершись на ручку. Он задумчиво смотрел на письмо в другой руке. Лицо, достаточно знакомое по карикатурам, вдруг обрело для меня реальность — реальнее лиц ближайших друзей, но при этом неожиданно старше, чем можно было — и хотелось — ожидать. Как будто я внимательней вгляделся в знакомого, которого встречал каждый день, и обнаружил, что он старше и седее, чем казался ранее; как будто я начал понимать, что мир не стоит на месте.

Он произнес слабо, даже с жалобой:

— И что мне делать с герцогом де Мершем?

Мисс Черчилль тут же обернулась, чуть ли не с опасением. Назвала мое имя — и министр едва заметно раздраженно вздрогнул, словно бы вопрошая: «Почему меня не предупредили раньше?» Это меня рассердило; я и так отлично знал о его отношениях с де Мершем, а он, выходит, принял меня за любителя подслушивать. Выражения лица Черчилля казались жутко преувеличенными — такие прощают только птицам его полета. Он сдвинул очки на кончик носа, близоруко взглянул на меня, снял их и пригляделся

вновь. Он производил такое впечатление, будто смотрит с большого расстояния — будто ему нужен телескоп.

— А, э-э… полагаю, вы сын миссис Грейнджер… Я не знал…

Из-за этой его сдержанности показалось, будто мы ни за что не поладим, даже если будем общаться годами.

— Нет, — ответил я довольно резко. — Я всего лишь из «Часа».

Тогда он принял меня за простого посланца от Фокса, сказал, что Фокс мог бы и написать:

— Поберегли бы свое время… или…

Казалось, он хотел вести себя радушно, порадовать меня тем, что, конечно же, узнал, кто я.

— О, — возразил я несколько надменно. — У меня нет никаких посланий. Я пришел всего лишь взять у вас интервью.

И тогда черты его лица заострило смятение.

— Интервью… — начал он, — но я же не разрешал… — Он резко оправился и энергично вернул очки на нос: наконец-таки нащупал нужное настроение. — Ах да, теперь вспомнил, — сказал он. — Я и не представлял, что это пройдет так.

Весь наш танец задел мое самолюбие, и я еле сдерживал гнев. Меня уже убедили, что этот

человек — только марионетка в руках Фокса, де Мерша и прочей шайки. А теперь он напускает на себя этакую неприступность. У меня, по крайней мере, не запачканы руки, не было тайных личных целей.

— Ах да, — прибавил он спешно, — вы напишете мой портрет — как это называет Фокс. Он присылал ваш очерк о Дженкинсе. Я читал, вы нашли очень удачную интонацию. Итак…

Он сел в удивительно низкое кресло, так что его колени оказались чуть ли не вровень с подбородком. Я пробормотал об опасениях, что ему процесс интервью покажется ужасно скучным.

— Не больше, чем вам, — ответил он серьезно. — Но ничего не поделать.

— Вы правы, — отозвался я, — ничего не поделать.

Я вдруг понял, что он об этом жалеет — жалеет всей душой; что он произнес это с горечью.

— И… какова процедура? — спросил он после паузы. — Для меня все это внове.

Он говорил как с мастером, к которому обращаются только в крайнем случае, — известным ростовщиком, главой менее благородной иерархии.

— О, раз уж на то пошло, то и для меня, — от-

ветил я. — Я должен, как выражается Кэллан, передать вашу атмосферу.

— Понимаю, — ответил он рассеянно и прибавил после паузы: — Так вы знакомы с Кэлланом?

Я испугался, что паду в его глазах.

— Ничего не поделать, — повторил я. — Я как раз недавно передавал его атмосферу.

Он снова взглянул на письмо в руке, пригладил галстук, но промолчал. Тут я понял, что помешал ему, но так смутился, что и забыл, как сформулировать извинение.

— Возможно… — начал я.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я хочу сказать, я вам помешал, — выпалил я.

— Что ж, — ответил он, — это пустяки. Но если вы хотите передать мою атмосферу, выйдем на свежий воздух. — Он помолчал, довольный своим остроумием. — Если только вы не устали, — добавил он.

— Я пока поднимусь и приготовлюсь, — сказал я, словно дама, которой надо повязать чепец.

Меня проводили в комнату, где я прилег на достаточно приличное время. Спустившись, я увидел, что мистер Черчилль прогуливался по комнате с руками в карманах, повесив голову.

— А! — сказал он при виде меня так, будто и

забыл о моем существовании. Надолго замер, задумчиво глядясь в зеркало над камином, потом оживился. — Идемте.

Мы отправились на долгую прогулку по пышным лугам. Мы говорили на множество тем — начал он с того самого инфернального очерка о Дженкинсе. Я уже дошел до стадии, когда от него с души воротило, даже от самой мысли о нем, и изысканно любезные похвалы мистера Черчилля не спасали.

— Вы знаете, кто прообраз Дженкинса? — спросил я. Мне хотелось поскорее покончить с пустяками.

— О, я решил, что это NN, — ответил Черчилль.

Говорят, он любил школу живописи, чьим последним представителем являлся Дженкинс. Черчилль принялся расспрашивать о художнике. Пишет ли еще? Жив ли?

— В прошлом я видел несколько его картин, — вспоминал он. — Мне приглянулось его творчество… да, определенно приглянулось. Я имею в виду, в те времена… но всего в голове не удержишь, что-то да забывается.

Казалось, этими бессвязными фразами он показывал, что на его плечах лежит тяжесть целого королевства, а то и нескольких; что он мог уде-

лить повседневности не больше секунды своего внимания.

— Обязательно как-нибудь свозите меня к нему, — сказал он вдруг. — Хочу приобрести что-нибудь из его работ.

Я вспомнил седовласого беднягу Дженкинса, его затяжную битву с критиками. Казалось даже жестоким, если Черчилль говорит не всерьез, если его слова — не больше чем вежливая формальность.

— Ничто не принесет мне радости больше, — ответил я и добавил: — Ничто во всем мире.

Он спрашивал, видел ли я такую-то и сякую-то картину, разглагольствовал о художниках и расхваливал то одного, то другого — уместно, но с некой скромностью, которая в конце концов вернула меня к привычной самоуверенности. В таких-то вопросах я больше привык слышать собственный голос. Я умел переговорить кого угодно — и сейчас поставил на место самого Черчилля. Даже тогда это казалось ужасно смешным. Будто бесконечно малая зверушка облаяла колосса среди зверей. Я в этом мире ничего из себя не представлял, а к нему прислушивались олимпийцы. И все-таки я говорил свысока, будто школьный директор, а он это терпел.

Мы дошли до широкого рынка в маленьком красно-сером городке, состоящем всего из одной улицы, где господствовала огромная вывеска гостиницы на неохватном белом столбе. Над головой, поскрипывая, болталось изображение некой Личности.

— А вот и Этчингем, — сказал Черчилль.

Это посещение дома моих предков навело на приятные размышления о течении времени. Я так давно пробыл вдали, что и не знал сей ауры древнего покоя. Они мало чем занимались, Грейнджеры из Этчингема, — разве что жили в Этчингеме, и ссорились в Этчингеме, и умирали в Этчингеме, и были чудовищно важными Грейнджерами из Этчингема. У моего отца была не лучшая репутация — представителя богемы, но при этом не гения. Поэтому Грейнджеры из Этчингема не приняли его в свою гавань, и в конце концов ему пришлось отчалить в другие моря и пойти там ко дну. Теперь я остался последним из Грейнджеров — и, судя по всему, самым известным. Они обеднели; они были обречены на падение, а я, казалось, был обречен взлететь, — и вот я вернулся на родину под руку с одним из светочей нашей земли. Я задался вопросом, что думает о нынешних временах нынешняя

властительница Этчингема — самовлюбленная старуха, которая, говорят, правит железной рукой; которая стала до того невыносима для всех своих знакомых, что ей пришлось взять к себе незадачливую племянницу. Интересно, что это за племянница такая, задумался я отстраненно; уж явно не Грейнджер из Этчингема, раз я последний из рода. Вероятнее всего, одна из племянниц со стороны тети. Черчилль вошел в здание почтамта, оставив меня ждать под вывеской. День был летний и приятный, воздух очень ясный, а окрестности — сонными. Я взглянул на тяжелые воротные столбы из серого камня — по-своему царственные, заметно отстоящие от домов простолюдинов, потрепанные погодой, покрытые пятнами лишайника. На вершине каждой колонны восседала скульптура волка — насколько мне было известно, наш фамильный герб. Мне вдруг стало приятно от мысли, что это, должно быть, вход в наше поместье.

Высокие железные ворота распахнулись внутрь, и я увидел, как на солнечную улицу на велосипеде выезжает девушка. Она наклонилась для поворота, такая четкая и маленькая на фоне стены света, и понеслась в мою сторону. Сердце екнуло: она вдруг свела отдельные элементы в

единую композицию — в эту дремлющую, залитую солнцем улицу. Встали на место светлое небо, красные крыши, голубые тени, красно-голубая вывеска, сизые голуби, гуляющие у моих ног, ярко-красная тележка почтальона. Девушка скользила ко мне, разрастаясь в центральную фигуру пейзажа. Она спешилась и подошла.

— Ты? — спросил я. — Что за счастливый случай привел тебя сюда?

— О, я компаньонка твоей тетушки, — ответила она, — ее племянница.

— Так, значит, ты правда моя двоюродная сестра! — воскликнул я.

— Нет, просто сестра, — поправила она. — Уверяю, я твоя сестра. Спроси кого угодно, хоть свою тетю.

Я оставался в добродушном недоумении.

— Но, право, — сказал я.

Она улыбалась, стоя прямо передо мной, чуть отклонившись назад и покачиваясь на велосипеде.

— Нелепо, да? — спросила она.

— Весьма, — ответил я, — но все равно, я не понимаю… А я ведь не феноменальный дурак.

— Не феноменальный, — согласилась она.

— Не феноменальный, с учетом, что я не… не

из Четвертого измерения, — отшутился я. — Но, выходит, ты и правда охмурила мою тетушку?

— Правда, — подтвердила она. — Та ни о чем не подозревает. Верит мне бесконечно. Я настолько Грейнджер, что типичнее не бывает. И мы вместе цокаем языками из-за твоего поведения.

Мое изумление было бескрайним, но я бы не назвал его неприятным.

— Мне можно навестить тетушку? — спросил я. — Обещаю, это не помешает твоим…

— О, не *помешает*, — ответила она. — Но завтра мы отбываем в Париж. Мы очень заняты. У нас — я имею в виду, у тетушки; я-то слишком юна и слишком, слишком прилична — есть свой маленький салончик, где мы строим интриги против половины европейских режимов. Ты и представления не имеешь, какие мы легитимистки[8].

— Ни малейшего, — сказал я, — ни малейшего.

— Если хочешь понять, меня нужно воспринимать буквально, — ответила она, — но только ты этого никогда не сделаешь. Я тебе открыто заявляю, что строю свое благосостояние на волнениях

---

[8] Примечания: 8

Легитимисты — изначально французские роялисты, приверженные монархической династии Бурбонов. В целом — сторонники монархической династии, потерявшей власть.

в государствах — и что я их устраиваю. Всюду. Еще увидишь.

Она говорила с прежней чудовищной бесстрастностью, и тут я очень отчетливо почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. Я гадал, на что она способна, если возьмется за дело всерьез и если я когда-нибудь окажусь на ее стороне — скажем, в качестве мужа.

— Вот бы ты хоть одну минуту говорила понятно, — сказал я. — Я хочу, чтобы все уложилось в голове.

— Но я и говорю понятно, — возразила она. — Причем постоянно, только ты не слушаешь. Взять твоего друга Черчилля. Ему мы положим конец. Я тебе на это намекала — и все же…

— Но это же чистое безумие, — ответил я.

— О нет, простой факт, — сказала она.

— Но я не понимаю как.

— Поможет твоя же статья в «Часе». Поможет любая мелочь, — сказала она. — И то, что ты понимаешь, и то, чего не понимаешь… Черчилль — на стороне герцога де Мерша. Кажется, это ерунда, но она-то его и погубит. Впереди будут союзы… и предательства.

— А! — воскликнул я.

О чем-то подобном я уже подозревал и теперь

невольно зауважал ее за знание отечественной политики. Должно быть, она имела в виду Гарнарда, доверие к которому все так старательно разыгрывали — из страха, быть может. Она посмотрела на меня и снова улыбнулась. И улыбка ее всегда была одной и той же; не так, что сегодня сияющая, а завтра задумчивая.

— Ты знаешь, как я не люблю об этом слушать?.. — начал я.

— О, здесь есть и ирония, и пафос, и тому подобное, — сказала она с намеком на ледяную насмешку в голосе. — Он действует с чистыми руками и недолюбливает это предприятие. Но все-таки поймет, что это его последний шанс. Не то чтобы он устарел — но все-таки чувствует, что его час близок, если чего-то срочно не сделать. А значит, он обязательно что-то сделает. Понимаешь?

— Ничуть, — сказал я легкомысленно.

— О, речь о Системе Возрождения Арктических Регионов — гренландском начинании моего знакомца де Мерша. Это для Черчилля будет большой успех — чтобы не свалиться со своего места и, конечно же, укрепить национальный престиж. Но Черчилль только отчасти видит, кто такой на самом деле де Мерш — и кем он не является.

— Для меня все это какая-то тарабарщина, — пробормотал я ей назло.

— О, знаю-знаю, — сказала она. — Но ничего не поделать: мне нужно, чтобы ты разобрался. Так вот, Черчиллю это предприятие нисколько не нравится. Но он на грани. В последнее время все чаще задумывается, что его время прошло — и скоро я тебе это даже покажу, — и потому… о, в отчаянном рывке он постарается ухватить дух времени, которое ему не нравится и которого он не понимает. Вот ради чего он разрешил тебе передать его атмосферу. Только и всего.

— Ах, *только и всего*, — иронично повторил я.

— Конечно, ему бы хотелось и дальше противостоять таким людям, как ты и я, — она передразнила интонацию и слова Фокса.

— Это колдовство какое-то, — сказал я. — Откуда ты можешь знать, что мне сказал Фокс?

— Уж я-то знаю, — ответила она.

Мне показалось, она только играет со мной в эту ерунду — словно понимает, что я испытываю к ней чувства, и потому дурачит как захочет. Я попытался проявить твердость.

— Так, слушай, — сказал я, — пора кое с чем разобраться. Ты…

Она перехватила речь прямо у меня из-под

носа.

— О, у тебя нет шансов меня разоблачить, — сказала она, — не больше, чем раньше; и причин множество. Обязательно будет сцена, а ты боишься сцен — да и твоя тетушка скорее поддержит меня. Ей придется. Это мои деньги воскрешают прежнюю славу Грейнджеров. Ты же видишь: ворота золотят заново.

Я почти невольно взглянул на высокие железные ворота, через которые она показалась в моем поле зрения. И в самом деле, некоторые завитушки уже сияли новой позолотой.

— Что ж, — сказал я. — Отдаю тебе должное за то, что ты не… наживаешься на тете. Но все-таки…

Я пытался взять все это в толк. Мне вдруг пришло в голову, что она американка из тех, что вкладываются в восстановление домов вроде этчингемского поместья. Возможно, тетя даже заставила ее принять нашу фамилию ради видимости. Старуха способна на все — даже обеспечить безвестного племянника великолепной сестрой. И если я тут вмешаюсь, меня не отблагодарят. Эти зачаточные мысли промелькнули в уме всего за мгновение между парой слов…

— Все-таки ты мне не сестра! — заключил я

довольно дружелюбно.

Тут ее лицо просияло, приветствуя кого-то за моей спиной.

— Нет, вы его слышали? — спросила она. — Вы его слышали, мистер Черчилль? Он от меня отрекается — гонит. Какой строгий брат! И ссорились-то из-за пустяка.

Ее дерзость — ее самообладание — лишили меня дара речи.

Черчилль любезно улыбнулся.

— А, люди вечно ссорятся по пустякам, — ответил он.

Он перебросился с девушкой парой слов: о моей тетушке, о велосипеде и тому подобном. Он обращался с ней как с избалованным дитятей, любимым, несмотря на все капризы. Сам он напоминал близорукого, но доброго и очень куцего льва, что смотрит на единорога с другой стороны сливового пирога[9].

— Значит, возвращаетесь в Париж, — сказал он. — Мисс Черчилль будет очень жаль это слышать. И вы продолжите… баламутить вселенную?

---

[9] Примечания: 9

Имеются в виду лев и единорог, символы из геральдики, и детский народный стишок о них, согласно сюжету которого лев и единорог едят пирог.

— О да, — ответила она, — продолжаем, тетушка никак не уймется. Просто не сможет, сами понимаете.

— Напроситесь на неприятности, — сказал Черчилль так, будто говорил с ребенком, решившим украсть яблоко. — А когда придет наш черед? Что, вернете династию Стюартов?

Так он себе представлял подколки — добродушные и без последствий.

— О, не совсем, — ответила она. — *Не совсем*.

Интересно было видеть ее в разговоре с другим мужчиной — мужчиной, а не пройдохой вроде Кэллана. Она спрятала то лицо, что всегда показывала мне, и мигом стала той, за кого ее принимал Черчилль, — балованной девчонкой. Временами в ней угадывалась американка определенного сорта: казалось, что она близко знакома с именами, но никогда — с духом традиций. Так и ждешь, что она вот-вот заведет рапсодии о донжонах.

— О, знаете, — произнесла она, разыгрывая надменность, — мы вас не пожалеем; уничтожим…

Черчилль тем временем рассеянно водил тростью по пыли дороги, начертив большие буквы «Ч Е Р». Она стерла их носком туфли.

— …вот так, — договорила она.

Он откинул голову и рассмеялся от всей души.

— Боже мой, — сказал он, — я и не представлял, что в самом деле стою на пути… у вас и миссис Грейнджер.

— О, дело не только в этом, — ответила она с улыбочкой, скосив взгляд на меня. — Но вам придется уступить дорогу будущему.

Вдруг Черчилль изменился в лице. Он показался очень старым, и седым, и сумрачным, и даже хрупким. Тогда я понял, что она хочет мне показать, и отнюдь этого не одобрил. Казалось ненужной жестокостью напоминать человеку о том, что он всеми силами хочет забыть.

— Ах да, — сказал он с мягкой печалью старика. — Смею заметить, в ваших словах больше истины, чем вы думаете. Даже вам придется такое узнать.

— Но нескоро, — прервала она дерзко.

— Надеюсь, — ответил он. — Надеюсь.

Она кивнула и укатила на велосипеде прочь.

Мы продолжили путь в молчании. Мистер Черчилль раз или два улыбнулся собственным мыслям.

— Весьма забавно… — произнес он наконец. — Беседы с ней идут мне на пользу, весьма.

Думаю, он имел в виду, что она отвлекала его от размышлений.

— И она всегда так разговаривает? — спросил я.

Он почти ко мне не обращался, и мне даже показалось, что я ему навязываюсь; но мне хотелось знать.

— Пожалуй, да, — ответил он. — Пожалуй, да. Но мисс Черчилль утверждает, что она настоящий организационный гений. Перед тем как они отправились в Париж, она там уже всех знала.

— Чем они там занимаются? — Я словно вытягивал тайны у лунатика.

— О, у них там место встречи, у всяких претендентов-легитимистов — французских, испанских и тому подобных. Кажется, миссис Грейнджер относится к этому очень серьезно. — Он вдруг посмотрел на меня. — Но вы-то должны об этом знать больше меня.

— О, мы очень редко видимся, — ответил я. — Нас едва ли можно называть братом и сестрой.

— Ах, понимаю, — сказал он. Не знаю, что он понимал. Сам я не понимал ничего.

Глава седьмая

Я дал Фоксу то, что было нужно его журналу: я уловил атмосферу Черчилля и его дома так, чтобы удовлетворить тех, для кого это предназначалось. Дом был довольно приятным — из тех, где принимают гостеприимно, но умеренно, не до тошноты. Он стоял в безмятежной деревенской местности, довольно скромный. С архитектурной точки зрения — самый обычный; в нем обживаешься, и он начинает нравиться. А сам Черчилль, если привыкнуть к его манерам, нравился весьма и весьма. У него был нежный, изящный разум самоучки, с хрупким равновесием и заметными ограничениями, удивительный характер для человека его рода занятий — но все же рассудительный, настойчивый. Вскоре я стал тешить себя теорией, что его душа не лежит к политике, что туда его загнали обстоятельства и ирония судьбы. Я глубоко презираю политический склад ума, и мне померещилось, что он разделяет это чувство. Были у него и особые личные качества: скромность, деликатность, непредвзятость.

Я провел с ним почти все выходные; вынуж-

денно держался неподалеку в любой час досуга. Полагаю, я его утомлял, но тут было ничего не поделать. Он говорил — и я говорил; и, господи, как же мы говорили! Он почти всегда был уважителен, я же — почти всегда догматичен; наверное, потому, что беседа шла на моих условиях. Политики мы не коснулись ни разу. Мне казалось, заговори я о ней — и меня поставят на место: вежливо, но совершенно недвусмысленно. Возможно, это ощущение донес он; возможно, это у меня самого выросло опасение, что, если бы я спросил: «Что вы думаете о Гренландской системе?», то он бы ответил: «Стараюсь вообще о ней не думать» — или любую другую осторожную фразу, чтобы пресечь разговор на корню. Но я так и не спросил; тем всегда хватало с избытком.

Он писал труд «Жизнь Кромвеля»[10] и мог думать только об этом. Однажды, аккуратно прощупав почву и убедившись, что мне не скучно, он доверился и излил душу. А вышло так — по большому совпадению, одному из тех слепых случаев, которые неизбежно ведут нас в будущее, — что и я тогда увлекался лордом Оливером. Дав-

[10] Примечания: 10

Оливер Кромвель (1599–1658) — лидер Английской революции и затем лорд-протектор Англии. В революции возглавил сторонников парламента, состоящих из крестьян и буржуа, против роялистов-феодалов.

ным-давно, еще будучи юнцом, лопавшимся от амбициозных планов, я задумывал, как водится, великий роман — прекрасную вещь, где Старик Нолл[11] был бы главным героем или мрачным отцом. Я облазил все книжные полки в поисках местного колорита и удивительно грамотно вложил все свои монеты по полкроны. Вот почему в жизни меня всегда сопровождало общество трудов семнадцатого века — мятых, без обложек, но все-таки великолепных под слоем пыли. В конце концов всем приходится расстаться с пережитками своего золотого века, и впоследствии, оправляясь от юношества, я многое перечитывал, и случайные полузабытые фразы вызывали в памяти разнообразные сцены: свет фонарей на убогих улочках; лотки, полные старых книг. Поэтому я знал о *Mercurius Rusticus*[12] все. И поэтому знания мистера Черчилля о Кромвеле чрезвычайно меня обрадовали и даже взбудоражили. Вот она, жизнь, — это присутствие при откровении необычайного характера. Это пошло

---

[11] Примечания: 11

Прозвище Кромвеля, данное роялистами. Нолл — сокращение от имени «Оливер».

[12] Примечания: 12

Деревенский Меркурий (*лат.*). Прозвище дано из-за поддержки Кромвеля среди крестьян.

мне на пользу, как ему, по его словам, шла на пользу моя псевдосестра. Невероятный опыт — невероятный, как она сама, — и заметнее он проявлялся именно в беседах, а не в его книге. Конечно, не обошлось и без моего влияния. Но только представьте себе, как относилась к Кромвелю эта тонкая, прямо ему противоположная, упрямо критичная личность. Это так и просилось в роман. А заодно стало мне уроком — в исследовании характеров, точек зрения; я последовал за настроем Черчилля, пытался даже его превзойти в надежде, что подстегну его превзойти самого себя. Все это я рассказываю только потому, что в своем начинании добился успеха — и столкнулся с поразительными последствиями.

Мы прогуливались взад-вперед по его лужайке в сумерках, после воскресного ужина. Бледный свет падал на поблескивающие лавры и висел на мягких облаках цветущего сада, что переливались над ними. Лежал свет и на серебряных прядях в темных волосах моего спутника, делая его лицо болезненнее, старше. Мне в этом виделась жестокая ирония. Словно слышать, как умирающий рассуждает о будущем годе. Во мне росло чувство нереальности происходящего. Зачем соловей за соловьем изливают трель за тре-

лью, на радость политика, чье сердце попросту не лежит к сдерживанию потопа, но оживляется от мысли об осуждении одного из тех титанов, что этот потоп устроили?

Где-то неделю спустя — а может, и две — Черчилль написал мне и попросил свозить к Дженкинсу из моего рассказа. Подобное испытание знакомо всякому, кто хотел порадеть за своих друзей. Дженкинс отнесся к этому скверно, приняв за оскорбительное покровительство официальных властей. Ему не хотелось показывать лучшие работы, забытые шедевры, то, что так и не продалось, что так и висело на выцветших стенах да гнило в подвалах. Он отказывался быть настоящим, радушным; отказывался говорить. Черчилль не возмущался; думаю, он все понимал.

И Дженкинс оттаял перед его мягким уважением. Я видел, как это происходит у меня на глазах. Он начал понимать, что этот невероятный визит человека, которому впору бы общаться с академиками, — вовсе не появление засланного шпиона. Тут нужно еще помнить, что Дженкинс был стар и не добился никакого успеха. Он всю жизнь вел тяжелую битву — и проиграл. Он мстил, исходя из своих подозрений.

Мы, младшие, его обожали. У него было румяное лицо и старомодная седая прическа короля Червей; удивительная и изысканная вежливость, пронесенная со времен молодости — дней Брамела[13]. И, хоть все его имущество истлевало в пыль, он сохранил нетипично юношеский и изобретательный образ мыслей. Это — или частичка этого — в свое время и придало очарования моему очерку.

Началась встреча неудачно. Я так хотел, чтобы неувядающая надежда всякого человека наконец взяла свое, и так боялся, что Черчилль охладеет раньше, чем успеет оттаять Дженкинс. Но, как я уже сказал, по-моему, Черчилль все понял. Он улыбался своей доброй близорукой улыбкой, глядя на холст за холстом, отмечая в каждом именно то, что стоило отметить, — и Дженкинс оттаял.

Он удалился — принести какие-то эскизы, поторопить служанку с чаем или еще по какой-то мелочи. Без его присутствия в комнате вдруг стало мрачно. Словно само солнце умерло в небе и оставило нас в преисподней, где мертвое и погребенное прошлое обитает в сером свете без теней. Над разноцветными тряпками на открытом рабо-

[13] Примечания: 13

Джордж Браммел (1778–1840) — английский законодатель мод в эпоху Регентства.

чем столике сияла палитра Дженкинса. Сиденье его кресла, плетенное из камыша, напоминало растрепанную ветром крышу.

— Из такой жизни можно извлечь урок, — сказал я вдруг, задумавшись скорее о Дженкинсе, нежели о моем собеседнике.

— О да, — ответил Черчилль рассеянно. — Полагаю, существуют люди, у кого нет умения поспевать за временами.

— Это не просто умение, — ответил я с излишней ожесточенностью. — Это характер.

— По-моему, это может быть и навыком. Ведь его можно развить, верно?

— Нет же, нет, — закипел я, — именно потому, что его нельзя развить, лучшие из нас, такие как…

Вдруг я прервался, почувствовав, что это неуместно. В разговорах с Черчиллем мне приходилось проявлять твердость чаще, чем хотелось бы. Иначе я бы вовсе исчез. Одно его слово имело вес трех королевств и нескольких колоний в придачу, а я решил бросить ему вызов в каком-то разговоре о характере. Однако в этой теме я был сильнее. Если я хотел что-то сказать, то говорил; его же сдерживала рассудительность. А еще казалось, что ему по нраву такой собесед-

ник-диктатор — иначе бы он и не потрудился мне написать с просьбой о встрече. Возможно, для него это было в новинку. Тут мой взгляд упал на пару масок, висящих по сторонам от камина. Комната была полна маленькими работами из гипса — густая пыль на плечах, волосах, веках, на всех выступающих частях.

— Кстати говоря, — сказал я, — это посмертная маска Кромвеля.

— Ах! — отозвался он. — Я так и думал…

Он очень медленно двинулся к ней, словно не желая видеть. Остановился раньше, чем протянуть к ней руку, и тяжело повернулся ко мне.

— По поводу моей книги, — он внезапно заговорил начистоту. — У меня так мало времени. — Его оживленный вид обрел жалобный оттенок — словно слабый намек на бессилие. — Я работаю над ней уже четыре года. Я заметил… ваши идеи как будто удивительным образом совпадают с моими.

Его речь, колеблясь, затихала, но он извиняющимся тоном ее возобновил — словно хотел, чтобы я подхватил ее за него:

— Я уже говорил с издателем Смитсоном, и он сказал, у него нет возражений…

Он просительно смотрел на меня. Я хранил

молчание.

— Конечно, это не ваш жанр. Но вы могли бы попробовать… Понимаете ли… — Теперь он замолк окончательно.

— Не понимаю, — ответил я довольно холодно, когда пауза стала тягостной. — Вы хотите, чтобы я втайне писал за вас?

— За меня? Господи помилуй, нет! — воскликнул он с жаром. — Боже мой, нет!

— Тогда я и правда не понимаю.

— Я думал, вы могли бы… Я хотел бы, чтобы вы работали со мной в соавторстве. Разумеется, совершенно открыто, насколько это возможно.

— В соавторстве, — медленно повторил я. — Вы…

Я смотрел на миниатюру Геркулеса Фарнезского, гадая, что это значит, что за палка ударила по колесу моей фортуны, раз оно вильнуло так резко.

— Конечно, вам нужно об этом поразмыслить, — сказал он.

— Даже не знаю, — пробормотал я, — идея такая неожиданная. Совсем не в моем духе. Даже не знаю, что и думать.

Я говорил наобум. В голове теснилось столько мыслей. Все это словно уводило еще дальше от

того, чем я хотел заниматься сам. Не то чтобы я боялся, будто у меня не получится написать эту книгу, — в таком писатели не сомневаются. Скорее я считал эту литературу ниже себя. Но еще это была огромная — невероятно огромная — возможность для меня.

— Вы уже неплохо представляете, сколько я сделал, — продолжал он. — Я собрал немало материала, немало уже написано. Но работы еще так много. Она выходит за пределы моих сил, о чем я только что и сказал.

Я снова взглянул на него, на сей раз с недоверием. Вот он стоял передо мной — худой черный параллелограмм с белыми ромбами воротника у горла. Нескладность придавала почти невыносимую реальность его отрешенной искренности. Он говорил так увлеченно, что забыл, чем заняты его руки, или тело, или голова. Снял с маленькой полки позади очень маленькую, очень пыльную книжонку и рассеянно листал побуревшие листы — говорил, не отрываясь от нее. Кем я был для него или он для меня?

— Я мог бы посвящать этому вторую половину воскресений, — говорил он, — когда вы сможете заезжать.

— Это невероятно любезно… — начал я.

— Вовсе нет, вовсе нет, — он отмахнулся. — Я твердо настроился это сделать, и если вы мне не поможете, то не верю, что у меня получится.

— Но есть же сотни других.

— Возможно, — сказал он, — возможно. Вот только мне они не встречались.

Меня вдруг охватила слепая честность.

— О, глупости, глупости! — сказал я. — Вы что, сами не понимаете, что предлагаете мне шанс, который выпадает раз в жизни?

Черчилль рассмеялся.

— Задумайтесь, нельзя же отказываться, когда предлагают, — сказал он. — К тому же самый подходящий для работы человек может совершенно не годиться мне в соавторы.

— Это очень соблазнительно, — сказал я.

— Ну так поддайтесь соблазну, — улыбнулся он.

Я не мог найти доводов против — и решил поддаться, как раз когда Дженкинс вернулся в комнату.

Глава восьмая

И дальше я зажил, как живут люди; и жил так сорок девять недель. Знаю, что сорок девять, потому что всего уловил за это время пятьдесят две атмосферы — Кэллана, Черчилля и еще сорока девяти, — а на последней закончил работу и год. По-своему это было интересно; люди большей частью предпочитали, чтобы их атмосферу улавливали в загородных домах — видимо, чтобы показать, что они у них есть. Потому я проводил пару дней из каждой недели в приятных поездках, и люди были со мной очень обходительны — этого требовали правила нашей игры.

Словом, мне выпал хороший год, и я жил в свое удовольствие — возможно, потому, что так долго мне выпадали только плохие. Остальную часть недели я заполнял помощью Фоксу и соавторством с мистером Черчиллем, а также время от времени восхищался миссис Хартли. Я болтался в редакции «Часа» в надежде написать три строчки, достойные лишь ее вздоха. Порой я писал их наспех, безо всякой тонкости, и вот тогда миссис Хартли была особенно довольна.

Я никогда ее не понимал, ни капли, — и весьма сомневаюсь, чтобы она понимала хоть слово из того, что я говорил. Должно быть, я беседовал с ней о ее искусстве или ее миссии — вещах очевидно неясных как ей, так и ее замечательному мужу. Думаю, она не занималась искусством; уверен, что у нее не было никакой миссии — только чтобы ею восхищались. Она шла по сцене — и ею восхищались; точно так же, как она сидела в квартире — и ею восхищались. И не более.

Что касается Фокса, то я ему, похоже, подходил — понятия не имею почему. Он явно знал меня лучше, чем я сам. Он ловил меня, пока я слонялся по редакции в надежде на встречу с миссис Хартли, и тогда поручал мне самые недостойные задания. Я проводил за него встречи, делал заметки, оскорблял людей по телефону, писал статьи. Конечно, все это хорошо вознаграждалось.

Никогда не понимал Фокса — ни капли, не больше, чем миссис Хартли. У него были манеры самого вульгарного невежды и, судя по всему, точка зрения свиньи. Но все это заслонялось чем-то еще, что-то вынуждало называть его *чудесным* человеком. Так его называли все. Он говорил, что знает, чего хочет, и умеет это получать, — и это правда. Мне ничуть не хотелось быть для

него мальчиком на побегушках, хоть за любые награды, не хотелось быть даже его товарищем. Но я все-таки играл эту роль, не замечая, как мне неприятно. Вероятно, в этом я не отличался от других.

Когда-то у меня мелькала мысль изменить Фокса — заставить его однажды превратить «Час» в прибежище для достойных авторов. И порой он позволял мне поступать по-моему — достаточно часто, чтобы потом меня не мучила совесть. Время от времени он разрешал Ли вести полторы колонки; а однажды пообещал, что позволит мне передать атмосферу романиста Артура Эдвардса.

Затем — Черчилль и кропотливая работа над «Жизнью Кромвеля». Эксперимент шел достаточно успешно, и со временем я все меньше давил, а Черчилль все меньше смущался. Под конец я чувствовал себя у него как дома. Вместе с ним выезжал по субботам, и по дороге в поезде мы обсуждали множество тем. Мне, известному лентяю, казалось удивительным, что дни можно вырезать и вставлять, как квадратики в детской головоломке; пассажи работы одного жанра встраивались в никак не связанные пассажи другого. Он тоже был доволен, работал без малейшего намека на спешку.

Пожалуй, его истинным вдохновителем была его тетя. Так говорили люди, хотя при тесном общении с ним это было на первый взгляд незаметно или же проявлялось лишь в пустяках. Мы трудились в высокой, темной и приятной комнате, заставленной книгами, с окнами на лужайку, где всегда находили прибежище скрытные дрозды. Мисс Черчилль, как правило, сидела, почти забытая, у окна, и свет падал у нее над плечом. Она вечно была погружена в бумаги, целыми днями отвечала на письма, проверяла отчеты. Время от времени она задавала вопрос племяннику, время от времени принимала гостей, которые приходили неофициально, но им бы все равно не смогли отказать в приеме. Однажды это был родственник королевской семьи, а однажды — герцог де Мерш, мой пресловутый работодатель.

О приходе последнего, помню, объявили, когда мы с Черчиллем заканчивали главу с описанием поразительной кончины лорда-протектора. Казалось, в той тихой комнате я вдруг живо услышал оглушительный грохот бури в сумерках закрывающегося занавеса. Увидел, как замерцали свечи в завихрениях сквозняка, ворвавшегося в сумрачные покои; большую постель и темное неопрятное тело, что мучилось в тенях бал-

дахина. Тут мисс Черчилль подняла взгляд от визитной карточки.

— Эдвард, — сказала она. — Герцог де Мерш.

Черчилль раздраженно поднялся с низкого стула.

— К черту его, — сказал он. — Не приму.

— Думаю, хочешь не хочешь, а принять надо, — задумчиво произнесла тетя. — Рано или поздно тебе придется определиться.

Я отлично знал, с чем им предстояло определиться — с гренландским делом, так давно не двигавшимся с мертвой точки. Знал по расплывчатым слухам, от Фокса. Говорили, мистер Гарнард поддерживал его по финансовым причинам, герцог рвал удила, а Черчилль необъяснимо медлил. От него я подробностей так и не узнал, но о многом — например, о причинах нетерпения де Мерша — мне рассказывали другие. Причинах слишком нелепых, слишком невероятных, слишком логичных, чтобы быть правдой. Ему нужно было раздобыть средства для железной дороги, и срочно. Он отчаянно нуждался в деньгах — он участвовал в таких и сяких международных филантропических предприятиях, запустил руки в такие и сякие дела. Например, во «Всемирную телеграфную компанию», объединявшую сердца

и руки, и в «Панъевропейскую железнодорожную, исследовательскую и цивилизационную компанию», приносившую свет в темные уголки мира, и в «Международное жилье для бедных», а также во множество других. Где-то во всех этих бездонных концернах скрывались успехи герцога де Мерша — и в «Часе» действительно периодически встречались лестные намеки на высшую филантропию и перспективы, приносящие дивиденды. Но больше того я не знал. Те же люди — люди из курительных комнат — говорили, что Трансгренландская магистраль — это последняя карта де Мерша. Британские вкладчики не станут ему доверять без гарантий британского правительства, а другие вкладчики не доверятся в принципе. Англия должна была гарантировать хоть что-то — наверное, процент на несколько лет. Я, конечно, в это не верил: со временем берешь в привычку не верить ничему подобному. Но понимал, что тот вечер станет для кого-то переломным — что мистер Гарнард, герцог де Мерш и Черчилль что-то обсудят, а мне это должно быть интересно, потому что я работаю в «Часе».

Черчилль продолжал ходить взад-вперед.

— Сегодня у нас ужинает Гарнард, — сказала тетя.

— Ах, понимаю. — Его пальцы играли с монетами в кармане брюк. — Понимаю, — повторил он, — они…

Это произвело на меня впечатление. Я хорошо запомнил поведение и племянника, и тети. От них вдруг потребовали принять непростое решение, которое им бы хотелось отложить на неопределенное будущее.

Она оставила Черчилля нервно мерить шагами комнату.

— Я могу пока писать что-то другое, если угодно, — сказал я.

— Но мне не угодно! — воскликнул он с жаром. — Мне бы не хотелось его принимать. Вы же знаете, что он за человек.

— Откуда? — спросил я. — Я никогда не читал Готский альманах[14].

— Ах, я и забыл, — сказал он.

Он был слишком раздражен сам на себя.

Ужины у Черчиллей были для меня испытанием. К ним захаживали особы неимоверной важности — и оказывались совершенными ослами. В лучшем случае они сидели напротив меня, вызывая смущение, и затем пропадали, не запо-

---

[14] Примечания: 14

Готский альманах (1763–1944) — ежегодный справочник по генеалогии европейской аристократии, издававшийся в городе Гота.

минаясь. Порой они меня разглядывали. В тот вечер их было двое.

О Гарнарде я уже был наслышан. Как не знать о канцлере казначейства. В справочниках говорилось, что он сын Уильяма Гарнарда, эсквайра, родом из Гримсби; но помню, как однажды в моем клубе человек, заявлявший, что знает все, заверял меня, что У. Гарнард, эсквайр (кого он назвал простым торговцем рыбой), — только приемный отец. Быстрый рост Гарнарда в чинах казался мне непостижимым, пока тот же всезнайка не объяснил, пожав плечами:

— Когда человек таких талантов ни во что не верит и ничем не гнушается, кто знает, как далеко он зайдет. Он сжег за собой мосты — ведь обратно он уже не собирается.

Это, конечно, объясняло многое, но не все в его легендарной карьере. Сторонники называли его государственным деятелем от бога, враги — всего лишь политиком. Это был сорокапятилетний худой мужчина, лысеющий, с ледяной уверенностью в манерах. Он не обращал внимания ни на какие нападки на свою репутацию, но безжалостно сокрушал любого, кто угрожал его положению. Он стоял на отшибе — и казался таинственным; его опасалась собственная партия.

Гарнарда от меня скрывали украшения на столе; зато герцог де Мерш излучал сияние на свету и много говорил, словно изголодался за годы по человеческому обществу. Мне казалось, он сияет сам по себе. Его роскошная борода прятала почти все румяное лицо, а заодно уравновешивала отсутствующий подбородок и удручающе морщинистые веки. Он превосходно говорил по-английски, хотя и медленно, словно вечно отвечал на тосты за свое здоровье. По мелочам в его поведении мне показалось, что он ставит Черчилля ниже себя, а при обращении к Гарнарду говорил нервным и защищающимся тоном. Оказывается, он явился подробнее обсудить *Système Groënlandais*[15] — чем и занимался. Бытовали заблуждения, будто Système — не более чем корпоративная эксплуатация несчастных эскимосов. Де Мерш убедительно провозглашал, с официальной окончательностью, что эти заблуждения — лишь заблуждения. Эскимосы вполне счастливы. Я не отвлекался от ужина и позволил речи о Гиперборейском протекторате выродиться в неуслышанное бормотание. За столом я всегда старался быть простым секретарем.

---

[15] Примечания: 15
Гренландская система.

Но вдруг мне показалось, что де Мерш говорит со мной; что он почти незаметно повысил голос. Он разглагольствовал о невероятной международной ценности предложенной Трансгренландской магистрали. Ее важность для Британии неоспорима; серьезных доводов против нет даже у оппозиции. Очевидный долг британского правительства — предоставить финансовую гарантию. Он даже не станет напоминать о нравственной стороне проекта — ни к чему. Прогресс, усовершенствования, цивилизация, чуть меньше зла в мире — больше света! Наш долг — не считать деньги, занимаясь гуманизацией низшей расы. К тому же прибыли будет не меньше, чем от Суэцкого канала. Конечная остановка и угольная станция будут располагаться на западном побережье… Я знал, что герцог говорит со мной, — вот только не понимал почему.

Вдруг он целиком обратил свой сияющий лик ко мне.

— Думаю, я знаком с членом вашего семейства, — сказал он.

И ответ сам пришел в голову. Я журналист, а он заинтересован в железной дороге и хочет, чтобы ее так или иначе поддержало правительство. Теперь его попытки заручиться моей поддержкой

не удивляли. Я пробормотал:

— Неужели?

— В Париже — миссис Этчингем-Грейнджер.

— Ах да.

Мне на помощь пришла мисс Черчилль.

— Герцог де Мерш имеет в виду нашу подругу, вашу тетю, — пояснила она.

У меня возникло неприятное ощущение. Я поймал на себе взгляд Гарнарда из-за листьев пушистого аспарагуса, словно что-то притянуло его внимание. Я ответил на взгляд, пытаясь разглядеть лицо. В полускрытом бледном овале не было ничего особенного, не за что ухватиться глазу. Но складывалось впечатление, будто он никогда не видел света дня, будто на него никогда не падали лучи солнца. И меня встревожила мысль, что я чем-то заслужил его внимание. Что он мог обо мне знать? Я так и чувствовал, что его взгляд пытается пробуриться через радужки моих глаз к задней стенке черепа. Почти физическое чувство, словно на меня направили какой-то невероятно сконцентрированный луч. Потом веки опустились над кольцами под ними. Мисс Черчилль все еще объясняла:

— Она открыла *Salon des Causes Perdues*[16] в Сен-Жермене. — Мисс Черчилль описывала похождения моей тетушки. Герцог рассмеялся.

— Ах да, — сказал он, — что за паноптикум: карлисты, орлеанисты, папские черные[17]. Не удивлюсь, если она проводила ярмарку и в пользу вашей лиги Белой Розы[18].

— Ах да, — вторил я. — Я слышал, у нее культ божественного права королей.

Мисс Черчилль поднялась, как леди поднимаются в конце ужина. Подчиняясь незаметному сигналу, я последовал за ней на выход.

Мы с ней замечательно ладили. Она баловала меня, как мать, — как баловала каждого, кто был достоин внимания или старше определенного возраста. Она сразу пришлась мне по душе: уме-

---

[16] Примечания: 16

Салон проигранных дел.

[17] Примечания: 17

Монархические партии, поддерживавшие проигравшие монархии.

Карлисты — партия Испании, отстаивавшая права на престол династии Дона Карлоса Старшего.

Орлеанисты — партия Франции, поддерживавшая династию короля Луи-Филиппа.

Папские черные — «черная знать», то есть римская аристократия, которая (в противоположность «белой») поддержала папу римского, когда итальянская Савойская династия лишила его светской власти. Названа по цвету одежды и отличалась от «белой» тем, что получила свои титулы от пап, а не от каких-либо временных правителей. На протяжении 1870–1929 годов папы римские объявляли себя «узниками Ватикана».

[18] Примечания: 18

Орден Белой Розы (1886–1915) — якобитское общество, поддерживавшее возвращение династии Стюартов.

лая, вдумчивая, деловитая леди, серый кардинал. Поднимаясь по лестнице, она сказала, отчасти извиняясь за то, что увела меня:

— Им нужно многое обсудить.

— Ну конечно, — ответил я. — Полагаю, вопрос железной дороги стоит ребром.

Она пристально взглянула на меня.

— Вы… вы никому не рассказывайте, — предупредила она.

— О, — ответил я. — Я не из болтливых.

Остальные трое не торопились перейти в салон. Я так и видел, как они вместе склонили головы над столом. Между тем к нам препроводила своих двух хорошо воспитанных дочерей-блондинок довольно суровая политическая вдова. В этом доме постоянно приходили и уходили люди; они занимались с мисс Черчилль какой-то общественной работой, устраивали предвыборные балаганы и тому подобное; меня это не заботило. В данном случае блондинки оказались пережитками шестидесятых — из тех, кто бесстрастно изучает альбомы. Я показывал им том с видами Швейцарии, пока вдова говорила мисс Черчилль:

— Значит, вы думаете, нам будет достаточно, если…

И тут у меня за спиной распахнулась дверь. Я

бросил взгляд через плечо и вернулся к изучению блестящей фотографии Дан-дю-Миди[19]. Угрюмую мисс Черчилль обнимала очень изящная девушка — так, как изящным девушкам положено невинно приветствовать угрюмых ветеранов.

— Ах, моя дорогая мисс Черчилль! — прощебетал в зале голос. — Мы чуть было не собрались обратно в Париж, не повидав вас. Мы здесь всего на два дня — ради бала арендаторов, — и моя тетя… но это же Артур!..

Я с радостью обернулся. Это была девушка из Четвертого измерения. Она все еще говорила с мисс Черчилль.

— Мы так редко встречаемся и никогда — мирно, — щебетала она. — Мы ладим как кошка с собакой.

Она подошла ко мне — и светловолосые девы пропали, пропало все и вся. Я не видел ее почти год. Со слов мисс Черчилль у меня сложилось расплывчатое впечатление, что ее считают моей сестрой, что на наследство от полулегендарного австралийского дядюшки она воскресила славу поместья моей тети. Я ничего не опровергал, потому что не желал мешать стараниям тети

---

[19] Примечания: 19
Дан-дю-Миди — горный хребет в Альпах.

по восстановлению семейного достоинства. Я ее даже поддерживал в какой-то малой мере — ведь, в конце концов, это и моя семья.

В воспоминаниях моя псевдосестра была яркой, четкой и довольно маленькой; теперь же на нее нельзя было взглянуть, не ослепнув от света. Она шла ко мне, лучась улыбкой, как корабль идет под сияющими башнями парусов. Я попросту растерялся. Не знаю, что она сказала, что сказал я, что мы делали. Насколько понимаю, мы общались несколько минут. Помню, в какой-то момент она сказала:

— Теперь уходите — мне надо поговорить с мистером Гарнардом.

Собственно, Гарнард как раз направлялся к ней — медленно, грузно. Она легкомысленно приветствовала его, как женщина приветствует близкого знакомого. Я вдруг обнаружил, что ненавижу его, не считаю тем, с кем ей стоило бы знаться.

— Все решено? — спросила она, когда он приблизился. Он вопросительно — и дерзко — посмотрел на меня. — Это мой брат, — успокоила она, и тогда он ответил: «О да», когда я уже уходил.

Я его ненавидел и не мог отвести от них глаз.

Я встал у каминной полки. К ним подошел и герцог де Мерш, и я радовался его вмешательству, пока не заметил, что и он знаком с ней близко — фамильярничает с помпезностью такой же раздражающей, как небрежность Гарнарда.

Я стоял и прожигал их взглядом. Я отмечал ее невыразимую красоту; почти опасную уверенность в себе при разговоре с двумя мужчинами. Я стал сплошь глаза. Ни разума, ни мыслей. Я наблюдал, как три фигуры воплощают разные настроения беседы: она — очень оживленная, де Мерш — гротескно выразительный, Гарнард — неприкрыто мрачный. Он был мне неприятен, как неприятны откровенно вульгарные люди, но сам он таким не был — просто было в нем что-то… что-то. Я не мог разглядеть его лица — не мог никогда. Так и не разглядел, как не получалось разглядеть и запомнить ее лицо. Я смутно гадал, как Черчилль может сотрудничать с таким человеком, как может оставаться наедине с ним — и с шутом вроде де Мерша; я бы на его месте испугался.

Де Мерш, стоя между ними, выглядел деревенским дурачком между профессиональными аферистами. Мне вдруг пришло в голову, что она позволяет мне увидеть — заставляет уви-

деть — понимание между ней и Гарнардом: на него намекало то, как они украдкой переглядывались, стоило ненаблюдательному герцогу отвернуться.

Теперь я увидел, как к ним нерешительно идет Черчилль — притягиваемый, как соломинка в омут. В припадке ревности я отвернулся.

Глава девятая

После этого мне не спалось, и на следующий день я был не в настроении для общения с Фоксом. Ее вид затмил собой всё; мысль о ней делала всё отвратительным, расстраивала мою гармонию с миром — с той частью мира, что стала моей. Я хотел попасть в ее мир и не видел пути туда. Редакция Фокса словно находилась безнадежно далеко от этой дороги — от любой дороги, которая куда-нибудь вела: тупик. Однажды я сам мог надеяться занять такой кабинет — без галстука, как Фокс. Но не это должно увенчать мою карьеру, не об этом я мечтал. Моя мнимая сестра выбила меня из колеи.

— А ты как раз разминулся с Поулхэмптоном, — сказал Фокс. — Он хотел напечатать твои «Атмосферы».

— О, пропади пропадом Поулхэмптон, — сказал я, — и особенно — «Атмосферы».

— Прекрасно тебя понимаю, — продолжал Фокс, — но я сказал мистеру Пи, что ты согласен, если…

— Не хочу даже знать, — повторил я. — Я же

говорю, мне все это опротивело.

— Какая перемена! — заявил он с сочувствием. — Я так и думал, что этим все закончится.

Мне вдруг стало неприятно, что такой человек, как Фокс, вообще обо мне думает.

— О, я доведу дело до финала, — сказал я. — Кто следующий?

— Теперь очередь герцога де Мерша, — ответил он. — Де Мерш как основатель государства — это выпиши как можно ярче, прямо поперек страницы. Момент настал — и мы должны его заарканить. Я неплохо с тобой обращался… Ты понимаешь…

Он начал объяснять — как обычно, в своих мрачных выражениях. Пришло время для энергичного и искусственного бума де Мерша — стартового выстрела. И застрельщиком быть мне. Фокс хорошо со мной обращался — и мне следовало отплатить. Я слушал с апатичным безразличием.

— Что ж, хорошо, — сказал я.

Подсознательно я понимал: решающим фактором для меня стала новость, что де Мерш едет в Париж. Будь он где-то в собственном герцогстве, я бы к нему не собрался. Поначалу мне казалось, что интервью пройдет в Лондоне. Но Фокс — по

крайней мере, с виду — даже не знал о нынешнем приезде де Мерша, говорил о нем так, будто тот уже в Париже — в квартире, где принимает континентальных финансистов, что занимает столько его времени.

Тут я понял, что хочу в Париж потому, что там она. Она говорила, что отправится утром вчерашнего дня. Название города в устах Фокса меня обрадовало и в конце концов склонило чашу весов в пользу поездки.

Фокс не сводил глаз с моего лица.

— Пойдет тебе на пользу, а? — Он трактовал мои мысли по-своему. — Поездка-то. Я так и думал, что тебе понравится, и, слушай, к Поулхэмптону перешел «Ежемесячник» — он ищет для него новую кровь, понимаешь? Он что-нибудь возьмет. Я с ним уже поговорил — короткая серия… «Аспекты». Такого рода.

Я попытался изобразить мало-мальский энтузиазм или благодарность. Я знал, что Фокс хвалил меня Поулхэмптону, — но только чтобы заручиться моей поддержкой.

— Иди-иди, повидайся с мистером Пи, — подтвердил он мои мысли, — все уже на самом деле обговорено. А потом как можно скорей собирайся в Париж и развейся.

— Я в последнее время сварлив больше обычного? — спросил я.

— О, я бы сказал, в последнюю неделю ты сам не свой.

Он достал большой флакон белого растительного клея, и я принял это за сигнал к завершению аудиенции. Меня тронула его забота о моем здоровье. Меня это всегда трогало, и, спускаясь по терракотовым ступеням, я вдруг поймал себя на необычном великодушии. Несмотря на всю откровенную вульгарность, работу без галстука (эту его привычку я отчего-то принимал за последний знак Зверя) и гарнитур Людовика XV, я питал к Фоксу теплые чувства.

Я поспешил к Поулхэмптону, чтобы выслушать его в конторе с полками, полными книг, выбранными за блеск обложек. Они создавали впечатление, будто мистер Поулхэмптон намекает своим гостям, что и им прилично было бы украсить стены такой же позолотой. Впрочем, думаю, на самом деле ему это просто нравилось эстетически. Он стал издателем не по своему желанию. Случай сначала завел его в это ремесло, а потом подарил успех, но под лаком профессионализма крылось благоговение перед книгой как предметом. В молодости он точно так же

выставлял блестящие безделицы на блестящем столике в гостиной. С тем же благоговением он слушал свою дочь, которая родилась после начала его работы в книгоиздании и обладала литературным вкусом, причем таким утонченным, что он упоминал ее в любом разговоре с нами, поставщиками его сырья, — видимо, тем самым надеялся поставить нас на место. Ради ее блага он и приобрел «Ежемесячник» — напыщенное политическое издание. Говорили, в награду он надеялся выкроить себе местечко в партии.

Было не так уж важно, о чем будет моя серия статей. Мне предлагалось передавать атмосферу городов так же, как я уже передавал атмосферы людей. Похоже, такая моя работа привлекала читателя, к тому же меня хвалила мисс Поулхэмптон.

— Понимаете, моей дочери нравится… э-э… ваш стиль, и…

Условия были достойные — по меркам Поулхэмптона — и предлагались с особым расположением и упоминанием сотни фунтов. Я было растерялся из-за такого обхождения, пока он не начал с запинками объяснять. Он говорил, что я знаю Фокса, и Черчилля, и герцога де Мерша, и «Час».

— А те финансовые статьи… в «Часе»… это правда?.. Правда ли Трансгренландская магистраль… вы не думаете, что в нее стоит вложиться… более того… — И так далее.

Я никогда не умел себя вести в подобных ситуациях, совершенно не умел. Должно быть, я изобразил полное непонимание, но глаза Поулхэмптона так и умоляли: для него это было чрезвычайно важно. Я ответил без определенности и прибавил:

— Конечно, мои слова ничего не значат.

Но меня не отпускало дурацкое смутное ощущение, будто верность Черчиллю требует поддерживать тех, кого поддерживает он. К тому же речь шла не о самой Гренландии, да и не могла бы о ней идти. Дело было в каких-то акциях в другом предприятии де Мерша. Поулхэмптон собирался приобрести их за гроши, и они-де взлетят, когда начнется бум де Мерша, — что-то в этом духе. А бум начнется, как только новости о соглашении по железной дороге достигнут заграницы.

Я поддался и позволил все из меня вытянуть таким образом, что от пустого кабинета с позолоченными корешками, тремя неудобными конторскими креслами и стеклянными окнами, в которых читалась зеркально перевернутая

надпись «Поулхэмптон», от всего мрака, строгих линий и бледного света в голове осталась только путаница. Но Поулхэмптон был благодарен и звал отужинать с ним и его фантастической дочерью, которая горела желанием со мной познакомиться. Словно из дворца прислали приказ посетить государственный бал, причем Ли приглашался вместе со мной. Мисс Поулхэмптон не нравился Ли, но раз в год приходилось приглашать и его — надо полагать, для поддержки доброжелательных отношений. На этом наше собеседование и закончилось. Я спросил, нет ли сегодня в редакции Ли. Его не было. Я попытался лишний раз замолвить за него словечко, но без толку. Поулхэмптон слишком верил колкостям своей помощницы, чтобы воспринимать похвалы ему.

И я поспешил оттуда убраться. Хотелось оставить позади окружение, где то и дело грозил заявить о себе мой дилетантизм. И убраться было несложно. В те времена я снимал комнаты в одном из клубов политических журналистов, облицованном белой плиткой. Но слуга быстро собирал мои вещи по первому требованию. На вокзале по одному из тех совпадений, что на самом деле не совпадения, я столкнулся с великим Кэлланом. Он был в дурном настроении — об-

наружил, что отвлекающийся носильщик не в состоянии дослушать до конца его предложение с двухсекундными паузами после каждого слова. Поэтому при виде меня Кэллан просиял — обрадовался спутнику, который ценит его величие по достоинству. В вагоне, избавившись от громоздкого багажа, отягощающего его лицо тревогой, а походку — запинками, он вновь надулся до своих обычных пропорций.

— Так, значит — ты едешь — в Париж, — размышлял он вслух, — по заданию «Часа».

— Я еду в Париж по заданию «Часа», — подтвердил я.

— Ага! — продолжил он. — Возьмешь интервью у великого герцога-курфю…

— Здесь мы зовем его герцог де Мерш, — прервал я легкомысленно.

Вопрос нюансов. «Великий герцог-курфюрст» — это филантроп и основатель государства, а герцог де Мерш известен как финансист.

— …Гольштейна-Лауневица, — не обращал на меня внимания Кэллан. Титулы соскакивали с его языка подобно последним каплям какого-то бесценного густого вина древнего винтажа. — Я мог бы избавить тебя от затруднений. Я сам с ним увижусь.

— Ты! — с нажимом повторил я.

Мне вдруг показалось феноменальным и на редкость нелепым, что все, кого я встречаю, так или иначе замешаны в делах этого напыщенного филантропа. Словно рыбак вытягивал леску с сотней крючков. Кэллан ответил со слегка задетым видом.

— Он — или, вернее сказать, ряд людей, заинтересованных в его филантропическом обществе, — просил меня отправиться в Гренландию.

— Решили от тебя избавиться? — пошутил я. Меня тут же поставили на место.

— Мой дорогой друг, — произнес Кэллан своим самым что ни на есть наигранным тоном королевского самодовольства. — Полагаю, ты в высшей степени ошибаешься… Мне сообщили, что Système Groënlandais — одно из самых полезных для здоровья мест за Полярным кругом. Есть заинтересованные лица, которые…

— Я слышал, — перебил я, — и заверяю, что не слышал ни единого дурного слова об этой Системе и… и филантропах. Я ничего не имею против. Просто удивляюсь, что ты собрался в такие далекие края.

— Меня просили отправиться с миссией, — объяснил он с серьезным видом, — и установить

правду о Système Groënlandais. Это новая страна, и меня заверили, что ее ждет великое будущее. В ее государственные бумаги вложено много английских средств — и, понятно, интерес проявляется соответствующий.

— Похоже на то, — сказал я. — То-то я натыкаюсь на ее упоминания каждый час дня и ночи.

— О да, — восторгался Кэллан, — ее ждет великое будущее, великое. Герцог — истинный филантроп. Он предпринял все возможные усилия, все. Он мечтал построить образцовое государство, *самый* образцовый протекторат мира, где для всех народов, всех религий и всех цветов кожи будет достигнуто идеальное равенство. Ты не поверишь, как он старался принести счастье коренным жителям. Он основал великое общество для защиты эскимосов — Общество Возрождения Арктических Регионов, или ОВАР, как вы его назвали, — и теперь только ждет, когда осуществится его величайший проект, Трансгренландская магистраль. Когда будет покончено и с этим, он просто отдаст Систему ее жителям. Вот как поступает великий человек.

— О да, — отозвался я.

— Что ж, — начал Кэллан заново, но вдруг прервался. — Между прочим, дальше нас это пойти

не должно, — попросил он с тревогой. — Я расскажу тебе все подробности, когда придет время.

— Мой дорогой Кэллан, — сказал я с обидой, — я умею держать язык за зубами.

Он пустился развивать тему.

— И не хочу, чтобы ты верил мне на слово, ведь я и сам еще ничего не видел. Но я уверен. В пользу проекта высказывались самые замечательные люди. Прославленный путешественник Эстон говорил о нем со слезами на глазах. Он же, как ты знаешь, был там первым генерал-губернатором. Если бы не это, я бы в ту сторону и не взглянул. Именно оттого, что я считаю это начинание одним из лучших достижений великого века, я и придаю ему вес своего пера.

— Вполне понимаю, — заверил я его, но затем добавил с интересом: — Надеюсь, они не думают, что ты займешься этим бесплатно.

— О господи, нет, — ответил Кэллан.

— Ну что ж, тогда желаю удачи, — сказал я. — Им не найти человека лучше, чтобы покорить совесть нации.

Кэллан кивнул.

— Хочется верить, общественность ко мне прислушивается, — сказал он.

Кажется, эта мысль доставляла ему немалое

удовлетворение.

Поезд въехал в порт Фолкстон. Меня слегка взбодрили запах моря и то, что корабль отчалил без происшествий, но все же настроение у меня портилось. Кэллан оказался тяжелым спутником. Один его вид пробуждал неприятные чувства, голос коробил слух.

— Ты едешь в «Гранд»? — спросил он, когда мы миновали Сен-Дени.

— Ну уж нет, — ответил я с запалом, — я за реку.

— Ах, — пробормотал он, — Латинский квартал. Жаль, мне нельзя с тобой. Но мне нужно заботиться о репутации. Ты бы поразился, сколько людей следят за моими передвижениями. К тому же я человек семейный.

Я с трудом сохранял молчание. Поезд вошел в яркое сияние электрических фонарей, и, сев в фиакр, я наконец выдохнул с облегчением. В той поездке через ночной город казалось, что я на пороге новой жизни — на пороге рая классом получше. В Лондоне ты всегда пассажир, а в Париже можно достигнуть цели. Те толпы на тротуарах под платанами, в черных тенях, в белом сиянии площадей, гуляют в свое удовольствие — они никуда не спешат, не ищут ничего сверх.

Мы переехали через реку — позади на фоне темного неба бледно высились недреманные башни Нотр-Дама, — продребезжали в новый свет возобновившегося бульвара, свернули на мрачную улочку и остановились перед полузнакомой закрытой дверью. Сами можете себе вообразить, как будишь дремлющего консьержа, как берешь свечу, забираешься по сотням и сотням гладких ступенек, следуя за шлепающими шагами полусонного проводника через рембрандтовские тени, — и как долгожданный сон подслащается такими мелкими неудобствами, как незнакомая голая комната и незнакомая жесткая кровать.

Глава десятая

Еще до полудня следующего дня я поднимался по лестнице нового дома, где нашел свое убежище герцог. В широких ступенях, покрытых ковром, чудилась аура секретности; в атмосфере — приглушенность, как и на самой этой улице — в приукрашенном тупичке, уводящем из бурной жизни Итальянского бульвара. Здесь чувствовался неожиданный застой пригорода, словно ты внезапно оглох посреди шума.

Выражение лица слуги, проводившего меня в комнату, было невероятно красноречиво — словно молчание частного сыщика. Это был английский слуга или актер, исполняющий такую роль, — из тех, кого обожают иностранцы. Комната встречала роскошью — не дешевой и вульгарной роскошью, а само́й вульгарностью во всей ее пышной, плюшевой и пурпурной красе. Воздух тяжелый, убитый запахом экзотических цветов, затененный шторами, напоминавшими обильные бархатные задники некоторых старинных портретов. Герцог де Мерш принес с собой в эту резиденцию вкус Нового дворца — той показ-

ной безделицы, что ошеломляет толпы честных туристов.

Я вспомнил, что он филантроп — то есть может быть человеком замечательной нравственности, но безразличным ко вкусу. Наверняка. И все-таки на меня подобное окружение действовало удручающе из-за мысли, что такое королевское великолепие лежит не на той чаше весов искусства. Я отвернулся от зала и выглянул на сияющие белые украшения фасадов напротив.

Должно быть, позади меня открылась дверь, потому что я услышал завершение тирады:

— Et quant à un duc de farce, je ne m'en fiche pas mal, moi[20], — произнес высокий голос с удивительным сочетанием иностранного акцента и глиссандо.

Последовал приглушенный упрек мужским голосом, а затем — снова с пугающей четкостью:

— Gr-r-rangeur — Eschingan — eh bien — il entend. Et moi, j'entends, moi aussi. Tu veux me jouer contre elle. La Grangeur-pah! Consoles-toi avec elle, mon vieux. Je ne veux plus de toi. Tu m'as donné de tes sales rentes Groënlandoises, et je n'ai pas pu les vendre. Ah,

---

[20] Примечания: 20

А что касается шутки, герцог, мне все равно.

vieux farceur, tu vas voir ce que j'en vais faire[21].

Из соседней комнаты явилось великолепное создание — воистину великолепное. Она была хрупка, как садовая лилия. Ее большие голубые глаза, горящие от гнева, глянули на меня, ее поджатые губы разжались, ноздри затрепетали.

— Et quant à vous, M. Grangeur Eschingan, — начала она, — je vais vous donner mon idée à moi…[22]

Я не понимал, что происходит, но хотя бы оценил всю неловкость. Мир как будто перевернулся вверх ногами. Я был ошеломлен, но все-таки сочувствовал человеку в соседней комнате. Я не знал, как быть. Вдруг поймал себя на том, что говорю:

— Мне ужасно жаль, мадам, но я не понимаю французского.

На ее лице — лице прелестном — вспыхнула досада еще сильнее. Видимо, ей хотелось

---

[21] Примечания: 21

Гр-р-ранжёр — Эшингем — что ж — он слышит. И я тоже слышу. Ты хочешь настроить меня против нее. Гранжёр — тьфу! Утешайся ею, старик. А я больше тебя не хочу. Ты дал свои грязные гренландские бумаги, а я ничего не могу с ними поделать. Ах, старый клоун, ты еще увидишь, что я сделаю.

[22] Примечания: 22

А что касается вас, мсье Гранжёр Эшингем… Я поделюсь с вами своими мыслями…

— чрезвычайно — поделиться idée à elle[23]. Она сделала резкий и свирепый жест, полный презрения и возмущения, и повернулась обратно к полуоткрытому проходу. Она вновь принялась рассуждать на тему слабости невидимого собеседника, но дверь быстро и безмолвно закрылась. Мы услышали щелчок замка. С поразительным проворством женщина склонилась к замочной скважине и выкрикнула с акцентом: «Свинья, свинья!» Потом выпрямилась во весь рост, и ее лицо стало спокойным, а манеры — величественными. Она проскользнула через зал, остановилась, взглянув на меня, и показала на неподвижную дверь.

— Свинья, свинья! — заявила она таинственно.

Думаю, так она пыталась уберечь меня от лжи человека за дверью. Я посмотрел в ее большие глаза.

— Я понял, — произнес я серьезно.

Она выплыла из комнаты. Для меня эта сцена стала долгожданной комедийной отдушиной. У меня было время поразмыслить. Дверь так и оставалась закрытой. Теперь герцог стал для меня человечнее. До сих пор я принимал его за

---

[23] Примечания: 23
Своими мыслями.

персону того утомительного типа, у кого помпезный филантропизм заменяет человеческие чувства. И еще меня развеселило, как меня звали Le Grangeur. Развеселило — а мне очень нужно было веселье. Иначе я бы в жизни не написал статью о герцоге. Это утро началось с нервного раздражения. Как никогда хотелось покончить с интервью, с «Часом», с журналистикой, со всем. Но это небольшое происшествие меня укрепило, придало мыслям не столь мрачное направление. Я задумался, будет ли де Мерш дуться — или поверит, что я не понял ни слова из тирад этой женщины.

Вдруг открылась дверь рядом с той, в которую вошел я, — через эту дверь только что вышла женщина.

Должно быть, в вечер у Черчиллей герцог произвел на меня яркое впечатление. В памяти его образ словно застыл. Теперь он говорил точно так же, как тогда, — жестикулировал, как я и ожидал. Не пришлось переосмысливать мое мнение. Ведь как правило, при первой встрече мы оцениваем человека и при каждой последующей дополняем его образ. Де Мерш был сплошь елейное дружелюбие. Он выглядел человеком света среди людей света, но при этом в нем не было ни капли той

инстинктивной сдержанности, что ожидаешь встретить у человека, временно отмеченного величием. Нет, ее место занимала подспудная угрюмость, словно он с сожалением вспоминал о прежнем пьедестале.

На медленном коммерческом английском он извинился за то, что заставил ждать; наслаждался-де свежим воздухом этого прекрасного утра, объяснил он. Все это он мямлил, не поднимая глаз от моего жилета, — с видом, не гармонировавшим с той напыщенной честностью, которую ему придавала борода. Но сразу после этого де Мерш нацепил на левый глаз монокль и посмотрел прямо на меня чуть ли не запальчиво. Улыбкой и словами «ничего страшного» я показал, что готов сделать вид, будто ничего не произошло.

— Вы хотите взять интервью, — сказал он просто. — Я только рад. Полагаю, вам интересно узнать о моих арктических планах. Поделюсь, чем смогу. Возможно, вы помните, что я рассказывал, когда имел удовольствие познакомиться с вами у достопочтенного мистера Черчилля. Мечта моей жизни — оставить после себя счастливое и самодостаточное государство, насколько на это могут повлиять законодательство и политическое устройство. Думаю, это англичане и хотят

знать обо мне больше всего.

Он говорил ужасно скучно. Наверное, филантропы и основатели государств приберегают свои сильные стороны для целей поважнее. Я попытался себе представить, что эти низкий покатый лоб и мясистые руки с розовыми ногтями принадлежат новому Солону, Энею наших дней. Попытался вызвать в себе соответствующий энтузиазм. В конце концов, он творит великие дела. Слишком уж я люблю оценивать других по умственным способностям. Их-то герцогу и не хватало. Я допустил, что все они ушли в его единственную благородную идею.

Он предоставил статистику. Проложено столько-то миль железной дороги, закуплено столько-то локомотивов британского производства. Местные обучены использовать и ценить швейные машинки и европейские костюмы. Столько-то младших сыновей Англии отправились зарабатывать себе состояние и заодно между прочим просвещать эскимосов — столько-то сотен французов, немцев, греков, русских. Все они живут в гармонии трудоустроенными, счастливыми, свободными работниками под защитой самых строгих законов. Каннибализм, поклонение фетишам, рабство — отменены, искоренены. За всем

наблюдало большое международное общество сохранения заполярной свободы — предлагало новые законы, дополняло старые. Это край тяжелый для здоровья, но только не для тех, кто ведет чистую жизнь, — hominibus bonæ voluntatis[24]. И других он к себе не звал.

— Мне пришлось вытерпеть столько поклепов. Выслушать столько оскорблений, — говорил герцог.

Перед моими глазами промелькнула та дама — гибкая, стройная; статуя с движениями змеи. Я так и видел, как ее точеная белая ручка указывает на закрытую дверь.

— Ах да, — сказал я. — Но мы хорошо знаем, что за люди те, кто нас поносит.

— Что ж, — ответил он, — ваше дело — показать им правду. У вашей страны большая власть. Если бы только пустить ее в нужное русло.

— Сделаю что смогу, — сказал я.

Я увидел апофеоз Прессы — той Прессы, из-за которой основатель государства вынужден заискивать перед таким, как я. Ведь он говорил тоном просителя. Это я стоял между ним и людьми — судья народов и королей грядущего. Я был никем,

---

[24] Примечания: 24

«…в человеках благоволение» (полностью «на земле мир, в человеках благоволение») — выражение из Евангелия от Луки 2:14.

ничем — и все-таки общался на равных с тем, кто менял облик континентов. Он нуждался во мне, в стоявшей за мной силе. Как странно было находиться в этом зале наедине с таким человеком, запросто общаться с ним точно так же, как в собственной комнатушке наедине с кем угодно.

Но не думайте, не то чтобы я потерял голову от восторга. Для меня это было ничто. Меня просто выбрали из-за некоего стечения обстоятельств. Даже в своих глазах я выступал лишь символом — видимым проявлением непостижимой стихии.

— Сделаю что смогу, — сказал я.

— О да, постарайтесь, — сказал он. — Мистер Черчилль рассказывал, как хорошо у вас получается.

Я ответил, что это очень любезно со стороны мистера Черчилля. Напряжение сходило на нет. Герцог спросил, видел ли я уже свою тетю.

— И думать о ней забыл, — сказал я.

— О, обязательно сходите к ней, — ответил он. — Она совершенно удивительная женщина. Одна из немногих позволяет мне расслабиться. Уверяю вас, она на устах у всего Парижа.

— Я и понятия не имел.

— О, потрафите ей, — сказал он. — Вас это развлечет.

— Обязательно, — пообещал я перед уходом.

Я вернулся прямиком домой, в свою каморку под крышей. Тут же засел за статью и работал с большим напряжением, чуть ли не в истерике. Отлично помню то место и то время. В вихре чувств взгляд цепляется за вещи, почти их не замечая. Но потом все вспоминается.

До сих пор вижу ту узкую комнату, голые, бурые, ветхие стены, неуместные мраморные часы на каминной полке, единственное скрипучее кресло, что шаталось подо мной. Практически могу воспроизвести хитроумный рисунок выцветшей скатерти, прятавшей мой круглый столик. Чернила оказались густыми, бледными и липкими; перо оставляло кляксы. Я писал яростно, торопясь закончить поскорей. Однажды я вышел и склонился с балкона, стараясь поймать слово, которое никак не шло. Где-то в милях подо мной по мощеной улице ползли маленькие человечишки, дребезжали их маленькие телеги, маленькие рабочие опускали бочки в подвал. Все было очень серо, мало́ и четко.

В открытом окне мансарды напротив я видел, как скульптор работает над исполинской моделью из глины. Он казался таким большим в своей белой блузе — несоразмерным окружающему

миру. Вровень с моими глазами шли плоские свинцовые крыши и дымоходы. На одном синей краской были вкривь и вкось намалеваны большие буквы «A bas Coignet[25]».

Над домами сгущались огромные тучи — округлые, рассыпающиеся массы серости, порой озарявшиеся угрюмым рыжим светом на фоне бледной и прозрачной лазури неба. Я стоял и смотрел. Вышел подумать — но мысли оставили меня. Я мог только смотреть.

Тучи незаметно, неумолимо надвигались, вдруг их разорвал разряд молнии. Они завихрились, словно взбаламученный дым, и разом почернели. На свинцовый пол моего балкона стали падать большие капли, оставляя зазубренные кляксы.

Я вернулся в сумерки комнаты и продолжил писать. До сих пор так и чувствую, как кончик пера рвал грубую бумагу. Помеха для спешащей мысли — но рвущиеся из меня слова не обращали внимания ни на какие помехи, набирая силы подобно потоку воды, прорывающему плотину.

Я писал пеан великому колонизатору. Тогда эта тема была разлита в воздухе. Она притянула меня, отвлекла от самого де Мерша. Пожалуй, я

---

[25] Примечания: 25
Т. е. «Долой Куанье».

позволил этому произойти, поскольку впервые писал подобное. Это стало новой для меня территорией — и я резвился на ней. Весь отдался эмоциональному, лиричному порыву из тех, плоды которых потом так стыдно перечитывать. И хоть сам это понимал, предпочел не задумываться.

Гроза прошла, и, когда я спешил с рукописью в редакцию «Часа» на авеню Оперы, в воздухе уже искрилась свежесть. Хотелось как можно скорее избавиться от бумажек, от соблазна править на следующее утро.

А еще хотелось восторженного облегчения — я его ждал. Заслуживал. В редакции я застал иностранного корреспондента — маленького еврея-космополита, чьи брови начинали расти уже от переносицы. Он был словоохотлив и фамильярен, как и вся его братия.

— Здравствуй, Грейнджер, — приветствовал он.

Я уже привык считать себя павшим из дворянских эмпиреев, но еще не настолько принизился, чтобы выслушивать, как незнакомцы его пошиба зовут меня Грейнджером. Я попытался вежливо от него избавиться.

— Читал твои вещицы в «Часе», — продолжал

он, — я бы сказал, чертовски хорошо. Взялся за старину Рыжебородого? Дай посмотрю. Да-да. Вот так и надо; настоящее мастерство. Должно быть, наскучил тебе до смерти… я имею в виду, старина де Мерш. Интервью должны были отдать мне, знаешь ли. Это моя вотчина, интервью в Париже. Но я и не против. Уж лучше ты, чем я. У тебя получается на порядок интересней.

Я пробормотал благодарность. В этом лощеном коротышке было ощущение, присущее подобному типу. Казалось, он шутливо и в то же время отчаянно старался показать, что мы с ним равны.

— Куда идешь сегодня вечером? — спросил он вдруг в припадке фамильярности.

Я был ошарашен. Непривычно слышать такие вопросы после пяти минут знакомства. Я ответил, что у меня нет планов.

— Слушай-ка, — обрадовался он. — А пойдем ужинать со мной в «Бреге» и потом заглянем в Оперу. Поговорим как положено.

Я слишком устал, чтобы придумывать вежливый повод для отказа. К тому же коротышка вцепился в меня, как дитя в новую игрушку. Мы сходили в «Бреге» и действительно превосходно поужинали.

— Всегда хожу сюда, — сказал он, — кого только не встретишь. Денег уходит прорва — но я не привык экономить, только не для «Часа». Когда я говорю, что услышал о чем-то от сенатора, всегда можно быть уверенным, что это сенатор, а не бабка в газетном киоске. Я не то что большинство журналистов.

— Мне всегда была любопытна эта внутренняя кухня, — сказал я расслабленно.

— Когда мы вошли, я кивнул де Сурдаму, а тот старичок — Плювис, работник «Аффэр». Мне надо будет с ним переговорить, если позволишь.

Он начал с приязнью расспрашивать о здоровье замечательного мистера Фокса, интересовался, часто ли я с ним вижусь, и так далее и тому подобное. Я с улыбкой догадался, что у этого коротышки есть свои подспудные цели, и решил как-нибудь ему услужить, если и он мне поможет. Итак, он кивнул Сурдаму из австрийского посольства, переговорил с Плювисом и вернулся, довольный тем, что сумел меня впечатлить; я так и видел, как его распирает от радости. Он предложил прогуляться до газетного киоска, куда обычно заходил, — его тоже держала одна из племени Израилева, маленькая сварливая старушонка.

Как я понял, в разгаре чувств ему хотелось

поболтать, потратить еще несколько минут на прогулку.

— Уже много месяцев не разминал ноги, — пояснил он.

Мы шли в летних сумерках. Славно совершать моцион вечером в начале лета. Столько мелочей привлекало взгляд, столько самых обыденных мелочей: выражения лиц прохожих, вид воротника; непривычно затянутая талия приличной мещаночки, гулявшей рука об руку с употевшим супругом. В позолоте на статуе Жанны д'Арк чувствовалась приятная буржуазная мелочность, галереи рю де Риволи так же приятно разбавляли серое освещение. Мне вспомнился один магазин — греческая лавочка с витриной, заставленной подделками, — где мне много лет назад дали фальшивую купюру в пять франков. Все тот же коварный левантинец стоял теперь на пороге — возможно, даже в той же феске. Старушонка, к которой мы шли, была согнута едва ли не вполовину. Носом она тыкалась в свои разложенные товары, пока ее руки в варежках, дрожа, искали то, о чем просил корреспондент. Мое мнение о спутнике повысилось из-за его заботы об этом забытом осколке его расы.

— Всегда хожу сюда! — воскликнул он. — У всех

бывают свои привычки. И к тому же она очень честная — всегда можно рассчитывать, что тебя не обсчитают. А если не знаешь продавца, никогда не угадаешь, не подкинут ли тебе итальянское серебро, знаешь ли.

— О, знаю, — ответил я.

Знал я и то, что он хотел, чтобы и я что-то купил. Я проследил за траекторией ее рук, зацепился глазами за «Ревю Руж» и вспомнил, что там было что-то о Гренландии. Я заплатил и получил правильную сдачу. Заодно почувствовал, что и удовлетворил спутника, и остался удовлетворенным сам.

— Хочу почитать статью Радé о Гренландии.

— О да, — начал он, чтобы снова показать себя человеком, который знает всех и вся. — Раде их вовсе не жалеет. Шутка получилась славная, только ни в коем случае не говори де Мершу, что читал. Раде надоел Кочи́н[26], вот он и попробовал Гренландию. Он общается с католиками, знаешь ли. Говорят, духовенству не по душе, что Система играет на руку протестантам и английскому правительству. Вот они и науськали Раде. Он едет ради мистицизма и тому подобного — как

---

[26] Примечания: 26
Кочин — город в Индии.

и все французские дурачки. Плотно общается с компашкой из Сен-Жермена — какие-то твои родственники, верно? Славная компашка, сейчас в моде, к ним ходят все — и старина де Мерш в том числе. Иногда закатывают жуткие скандалы, такое уж там смешанное общество, — дружелюбно тараторил коротышка, шагая рядом.

— Забавное это дело — покупать книги, — говорил он. — Я уже годами не читаю ничего из того, что купил.

Мы пришли к Опере как раз к завершению первого акта — кажется, давали «Аиду». У моего спутника везде был свободный пропуск. Я не бывал в Опере много лет. В прежние дни я всегда видел сцену с большой высоты, глядя в знойных сумерках через чужие головы; теперь же я сидел свободно, на уровне сцены. И мог благодарить за такую перемену только власть Прессы.

— Стараюсь приходить сюда как можно чаще, — сказал мой спутник, — не в силах обойтись без музыки, когда душа просит.

И в самом деле, он любил музыку, что вообще присуще его народу. Она его словно смягчала, меняла характер, и сидел он рядом со мной тихо.

Но на завершающих нотах каждого акта он уже рыскал в коридорах, говорил и слушал, отлавли-

вая каждого, кто уделил бы ему хоть слово.

— Многое тут узнаю́, — объяснил он.

После финала мы склонились с бокового балкона, глядя на толпу, которая струилась по мраморным лестницам. Никогда не устану от этой сцены. Есть что-то поразительно безвкусное в разноцветном мраморе местной архитектуры. Хоть убейте, но это выглядит как триумф орнаментального мыловарения; так и ждешь, что в нос ударит запах. А уж поток людей, текущий, словно жидкость, через зеркальный свет, и просторность… Да, есть в этом и что-то фантастическое; есть и что-то ироничное.

Я наблюдал за жутким шествием довольно хмельного, гигантского, багрового англичанина, гадая, насколько помню, доберется ли он до постели.

— А вот, кажется, и твои родственники, — сказал корреспондент, показывая вниз.

Мой взгляд провел мысленную линию от его бледного пальца. Я разглядел роскошную бороду герцога де Мерша, шедшего рука об руку с пожилой дамой, которую он выслушивал едва ли не с благоговением; голова склонена к плечу, улыбка искренняя. Чуть поодаль, на лестнице, было пустое пространство, словно люди не смели

его занять. Возможно, я ошибался — возможно, и не было никакой пустоты; уже не знаю. Видел я лишь фигуру, неописуемо яркую женскую фигуру, скользящую вниз. Видел ее холодность, самоуверенность, независимый темп движения. В том четком, прозрачном, переливающемся свете выделялись каждая складка платья, каждая линия ее белых рук, белых плеч. Лицо повернулось навстречу моему. Как хорошо я помню падающий на него свет — нигде ни тени, ни под бровями, ни у носа, ни в волнах волос. Она была само воплощение света — грозное, зловещее.

Она улыбнулась, ее губы сдвинулись.

— Ты придешь ко мне завтра, — сказала она.

Я услышал слова — или только прочел движение губ? Она была далеко-далеко внизу; воздух бурлил от шуршания ног и одежды, смеха, полнился звуками, которые давали о себе знать, но отказывались быть уловленными.

— Ты придешь ко мне… завтра.

Очевидно, старушка рядом с де Мершем — моя тетушка. Я не понимал, зачем мне идти к ним завтра. Внезапно нашло довольно приятное осознание, что это, в конце концов, моя семья. Эта старушка на самом деле мне ближе всех на свете. А девушка в глазах окружающих — моя сестра. И

не сказать чтобы я был против этого. Я смотрел на них и впервые чувствовал себя не так одиноко, как все эти годы.

Вдруг рядом поднялся небольшой переполох. Сбоку от меня стояли двое. Не имею ни малейшего понятия, кто — то ли маркизы, то ли железнодорожные грузчики, там и не разберешь. Один — высокий блондин с тяжелыми обвисшими рыжими усами, на вид ирландец; второй — непримечательного роста, темноволосый, одетый превосходно и изысканно. Это мне запомнилось по какой-то детали его костюма, хоть уже и не упомню какой — то ли по перчаткам, то ли по шелковой полоске сбоку брюк, то ли по чему-то еще в этом роде. Блондин что-то произнес, чего я не разобрал. Я услышал слова «де Мерш» и «Anglaise»[27] и увидел, что темноволосый смотрит на группку под нами. Затем я услышал собственную фамилию — исковерканную; настоящее испытание для того писклявого и презрительного голоса. Корреспондент, стоявший по другую руку от меня, заметно вздрогнул и быстро обогнул меня сзади.

— Месье, — сказал он горячим шепотом и отвел

---

[27] Примечания: 27
Англичанка.

их в сторонку.

Я видел, как он что-то говорит, видел, как они обернулись ко мне, пожали плечами и ушли своей дорогой. Но не понял значения этой сцены — по крайней мере тогда.

— Что случилось? — спросил я вернувшегося друга. — Они говорили обо мне?

Ответил он нервно.

— О, о салоне твоей тети. Наверняка хотели ляпнуть что-нибудь неловкое… никогда заранее не узнаешь.

— Так он и правда у всех на устах? — спросил я. — Я уже подумываю сходить сам.

— Ну конечно, — сказал он, — сходи. Я и правда думаю, что тебе *стоит*.

Глава одиннадцатая

Той ночью мне не спалось, я ворочался, зажигал свечу и читал, и так далее — целую вечность. Я чертовски взбудоражился; нужно было передумать сотню вещей — они требовали, чтобы я о них думал, перекрикивая периодический бой часов где-то неподалеку. Я взялся за статью Раде в «Ревю Руж» — в выпуске, что купил у старушки в киоске. И как же она меня разволновала, та статья. В ней гренландский проект разоблачался с головой — да так, что восторженная чушь, которую я только что отослал в «Час», казалась невозможной. Пожалуй, у Раде имелись свои тайные мотивы — точно так же, как у меня и у основателя государства, — но у него они не просвечивали так сильно. Я читал о долине — широкой, мрачной, серой; невероятно широкой, невероятно мрачной, убегающей между невероятными, почти невидимыми горами в тишь неведомого края. По ней медленно поднимался отряд — фигурки микроскопические в этом просторе, в этом тумане. Одна из них говорила; я словно слышал ее голос — монотонный, теряющийся среди слабого света,

безмолвия и простора.

И как же хорошо исполнено — как хорошо он писал, как мастерски подавал свои мысли. Ни воды, ни сантиментов. Стиль легкий, местами даже веселый. Он хорошо разглядел романтику этой мрачной компании, что оставила сожаления позади; у которой не было места, куда вернуться, не было будущего — только запустенье и запустенье. И это всего лишь обзорная статья — жанр, что в Англии читать вовсе невозможно; повествование какого-то гениального кочевника. Я бы в жизни так не написал, обязательно бы где-нибудь да напортачил. Статья разожгла во мне вожделение, превосходившее животное, — вожделение к правильному обороту, подходящему словцу и прочему неуловимому. А я все это время впустую растрачивал талант, писал глупости. Нужно уехать; нужно вернуться, вернуться на старый путь, нужно работать. Времени так мало. К тому же впутаться в это дело было попросту неприятно — неприятно, что меня запрягли изо всех сил помогать в грязной политике. Знает бог, гуманист из меня невеликий. Если уж людям так хочется убивать в закоулках нашего огромного мира, пусть убивают и расплачиваются за это. Но впутываться в это самому мне не хотелось. Нужно

покончить со всем — со всем подобным; нужно вернуться к прежнему себе, вернуться. Я так и слышал размеренную речь герцога де Мерша: «Мы увеличили экспорт на столько-то, импорт — на столько-то. Мы защитили коренное население, всегда помним об их высших интересах. И за все время не забыли о миссии, вверенной нам Европой: устранить с лика земли зло тьмы; искоренить варварство со всеми его неописуемыми ужасами, чье существование — пятно на нашей совести. Сейчас этим занимаются добрые и самоотверженные люди — кладут свои бесценные жизни, чтобы искоренить… искоренить…»

Ну конечно же, они искореняют местных жителей.

Не это меня трогало. Иной мог бы даже сказать, что коренные жители для того и существуют — чтобы их искореняли добрые люди, которым нужно строить себе карьеру. Но суть в том, чем белые там занимались на самом деле — искореняли варварство вместе с варварами и доказывали, что стоят своих денег. А я расписывал этих героев в ярких красках и вышел ничем не лучше паяца-губернатора, который наутро опубликует протест, дескать, ничего такого они не делали. Понимаете, в то время у меня была гордость, я

предпочитал считать себя добропорядочным человеком. Я знал: обо мне скажут то же, что и обо всех остальных в Гренландии. И мне нечего было бы возразить. Я и правда «мыл руки» всевозможным личностям — из дружбы, из любви, по разным причинам. И это была лишь последняя капля — а может, последней каплей был *ее* вид в опере. Казалось наивным и тщетным тратить время на миссис Хартли и на всех, кого она символизировала, когда в мире есть что-то совсем другое — что-то, так сильно напоминающее дуновение восточного ветра.

Подобные размышления и не давали мне уснуть, а с ними за компанию пришло и кое-что похуже. Вернулись домой мои соседи — видимо, студенты. Они шумно болтали, их слова перемежались стуком падающих сапог и прочими непостижимыми звуками ночи. Я улавливал из-за хлипкой перегородки полуфразы с той французской интонацией, какой невозможно добиться постороннему. Так мне вспомнились голоса тех двоих в Опере. Я стал гадать, что они сказали на самом деле — что могли бы сказать такого, что касалось меня и вынудило маленького корреспондента вмешаться. И вдруг меня осенило — с пугающей четкостью рисунка в запу-

танной мешанине линий; четкостью, от которой уже невозможно отвести глаз.

И тогда всё — весь мир — предстало в еще более неприятном свете, чем даже гренландское дело. Говорили они вовсе не о моей тете и ее салоне, а… о моей сестре. Это она — Anglaise де Мерша. Я в это не верил, но, вероятно, верил весь Париж — весь мир. И в глазах всего мира я — ее брат! Эти двое оглянулись на меня через плечо, хмыкнули и сказали: «А, так это *он*…» И весь мир, куда бы я ни шел, шушукался в сторонке: «Вы знаете Грейнджера? Он ее брат. И работает на де Мерша».

Я начал понимать все: та женщина в комнате де Мерша с ее «Эшингем-Гранжёр-р-р»; почтительность маленького еврея — человека, который знал всё и вся. Он-то знал, что я… что я, такой снисходительный с ним, добился своего положения из-за… из-за влияния моей сестры на де Мерша. Конечно, это было отнюдь не так, но вам не понять, как меня это тем не менее разозлило. Я возненавидел весь свет — свет тех, кто шептался и прислушивался к шепоту; тех, кто знал, и тех, кто хотел знать; мрачный мир людей, которые ничего из себя не представляли, но чьи глаза и голоса все равно меня окружали — и почему-то все-таки что-то представляли. Я отлично знал,

как так получилось. Это все де Мерш — основатель государства, с его пристыженным лицом и бледными руками. Мою «сестру» привлекли его аура величия, его титул великого герцога, его торжественный вид. Женщины это любят. Ее это привлекло — и вот она уже сама не знала, что делает, не знала, что за мир вокруг и что люди говорят. Ей вскружили голову, а может, ей было все равно. Она велела прийти утром. Что ж, я пойду — и поставлю точку. Я вдруг обнаружил, что я и в самом деле Грейнджер из Этчингема до мозга костей, что за мной есть семейные традиции и могилы. И хотя бы ради всех этих людей, чьим достижением было наше славное имя, я обязан вмешаться. В конце концов Bon sang ne[28] не позволяет говорить о себе так.

На следующее утро я стоял в большом зале — выцветшем и мрачном салоне в доме, что моя тетя сняла в Сен-Жермене. Среди столов и стульев дореволюционных времен беседовали, разбившись на группки, люди с резкими чертами лиц. Я и забыл, как сюда попал и через что прошел. Должно быть, я проспал допоздна и дальнейшие часы провел в нервном трепете. Я думал о том,

[28] Примечания: 28

«Хорошая кровь», полное выражение «Bon sang ne saurait mentir» — «хорошая кровь не может лгать».

что увижу ее, — и вел себя как влюбленный щенок, когда должен был вести себя по-мужски. Из-за возмутительной ситуации устойчивый мир плыл перед глазами. И там, в зале, мои глаза вдруг увидели всё разом.

Я вдруг почувствовал ее рядом. Она только что представила меня тете — сельской тиранше с тяжелым лицом и усталыми глазами. Она так очевидно сдала, так очевидно была «не той, что прежде», что ее лицо было бы жалким, если бы не это неподвижное выражение сословной гордости. Понимаете ли, Грейнджеры из Этчингема всегда стояли на вершине своей иерархии — для них просто невозможно встретить кого-то, кто не был бы ниже их достоинства. Хоть министр, хоть принц — они не Грейнджеры из Этчингема, у них нет за спиной тех могил, где лежат Грейнджеры. И выражение не изменилось даже ради меня, у которого они были. Уже не могло — настолько застыло. Как тут не задуматься, что она вообще делает в этой злачной компании. Немыслимо, чтобы ее интересовала реставрация Бурбонов — они, конечно, замечательные люди, но не англичане и тем более не помещики. Я тогда пришел к выводу: она навела такой порядок в своей деревне, что уже не оставалось ничего, кроме как

наводить порядок во всем мире. Ее скучающие глаза сонно блуждали по собравшимся. В них не читалось пристрастий ни к кому. Они одинаково задерживались на бессодержательном принце Бонапарте; на чахлом немецком иезуите, которого слушал принц; на смуглом и стройном молодом испанском священнике; на бледном как поганка английском пассионисте[29]; на Раде — авторе статьи в «Ревю Руж», который беседовал с соотечественником у высокого окна. Она словно только мирилась с этими угрюмыми мужчинами, с женщинами-политиками, которые бегло и с акцентом говорили на неродном языке, демонстрируя опасные отрешенные улыбки и не лучшего вида зубы. Тетя словно отождествляла интриганов с верующими, очевидных авантюристов — с явными фанатиками. Мне было странно видеть ее здесь, со всей ее самоуверенностью представительницы дворянской семьи, посреди столь сомнительного общества. Она объяснения не предложила — предстояло искать его самому.

Мы стояли и говорили посреди зала. Он был не из тех мест, где можно просто взять и *сесть*.

— Почему никогда меня не навещал? — спра-

[29] Примечания: 29

Пассионисты (1720 — н. вр.) — католическая монашеская конгрегация, посвященная созерцательной жизни.

шивала она лениво. — Я бы так и не узнала о твоем существовании, если бы не твоя сестра. Твой отец был таким эксцентриком. Со дня его женитьбы мой муж не слышал от него ни слова.

— Они были очень разными, — сказал я с прохладцей.

— О да, — ответила она, — как часто бывает с братьями. — Ни с того ни с сего вздохнула.

Затем продолжила говорить бессвязными фразами, из которых я сложил схематичную историю появления моей далекой сестры и ее самозванства. Судя по всему, она просто подошла на каком-то пикнике и представилась, назвавшись моей сестрой, которой дядя по материнской линии оставил баснословное состояние. Она сама предложила поселиться под крышей тети в качестве единственной в своем роде пансионерки. Она же предложила поехать в Париж и сняла дом у опустившегося герцога Люина, предпочитавшего удовольствия appartement[30] на не столь унылой авеню Марсо.

— У нас столько общего во вкусах, — пояснила тетя на пути к новому гостю. И я остался наедине с женщиной, называвшей себя моей сестрой.

---

[30] Примечания: 30
Апартаменты.

Мы стояли поодаль друг от друга. Казалось, все группки в зале расположились так, чтобы подслушивать соседние. Я стоял спиной к двери, лицом к ней.

— И вот ты пришел, — сказала она, как мне почудилось, зловеще.

Мне было невозможно говорить в *таком* положении; в таком месте; невозможно вести беседу о семейном, когда крошечная ирландка со слишком подвижными бровями и пара гигантских, костлявых, угрюмых испанцев могли услышать что угодно громче шепота. Вдруг мне захочется повысить голос. К тому же она так… так ужасна: поди знай, что она скажет. Ее так очевидно не заботило, что услышат ирландцы, или испанцы, или иезуиты, что пришлось прийти к постыдному выводу: это заботит меня.

— Да, я пришел, — ответил я.

Я чувствовал себя не в своей тарелке, будто на пригородной ярмарке, где не знакомо ни одно животное в зверинце. Я не понимал, как быть или что сказать, куда девать руки. Меня захватила назойливая мысль, что все взгляды устремлены на нас: оценивают меня, потому что я брат знаменитости. Меня вдруг озаботил вид моих пиджака и туфель, а ведь я был в ярости — мое дело было

слишком важным.

Она стояла и смотрела на меня — коварная, блестящая, с огнем в глазах, то ли бросающим вызов, то ли уже празднующим победу.

— Ты пришел, — сказала она, — и…

Я как никогда испугался ее; хотел заткнуть ей рот. Она могла ляпнуть что угодно. Она давила так, что я словно уменьшился — до нескладности ранней юности. Снова стал мальчишкой с выпученными глазами, наступающим на ноги, и в отчаянии совершил мальчишескую попытку разом восстановить идеальный стандарт приличий.

— Я должен с тобой поговорить, — сказал я, вспоминая цель своего прихода. Она взмахнула руками, словно показывала: «Пожалуйста, я здесь». — Но втайне, — добавил я.

— О, здесь все остается в тайне, — ответила она. Я промолчал.

— Но я должен, — добавил я наконец.

— Я не могу с тобой уйти, — сказала она, — это покажется странным; разве ты бы сам так не сказал?

Я пожал плечами с растущей досадой. Мне не хотелось выставлять себя на посмешище. В зал влился новый поток людей. Я услышал рядом

хриплое покашливание: о себе напоминал герцог де Мерш. Все было так, как я и подозревал: он здесь завсегдатай — в своей одежде хорошего фасона, со своим торжественным настроем, своей огромной золоченой головой. Он был единственным лучом солнца, которому радовался этот мрачный зал. Герцог низко склонился к руке моей мучительницы, улыбнулся мне и начал рассыпаться в банальностях на английском.

— О, можете говорить по-французски, — беспечно сказала она.

— Но твой брат… — пробормотал он.

— Я понимаю по-французски, — сказал я.

Я был не в настроении спасать его от смущения: хотел показать, что разгадал его, знал, что он не тот человек, с кем стоит общаться юной леди. Герцог надменно обжег меня взглядом.

— Но вчера… — начал он голосом, скверно пародирующим августейшее недовольство.

А я гадал, как он выглядел по ту сторону двери, когда возмущенная дама раскрывала мне его суть.

— Вчера я желал избежать неловкости, — ответил я. — Я должен был передать ваши взгляды на Гренландию. Я мог неверно понять какой-нибудь важный нюанс в вашем ответе.

— Понимаю, понимаю, — примирительно сказал он. — Вчера мы говорили по-английски для британской публики. Когда мы говорим по-французски, надеюсь, мы не публичны. — Он говорил чуть ли не просительно.

— Здесь все слишком публично, — ответил я.

Я-то воображал себя в роли брата-британца, защищающего сестру от нежелательных авансов, — в роли человека, который «желает показать другому мужчине, что его не звали». Но де Мерш этого вовсе не замечал. И, конечно, просто не мог заметить. Он привык к восхищению не меньше, чем моя тетя — ко взгляду свысока на всех непомещиков. Похоже, он принял мои слова за какую-то непонятную шутку и легко рассмеялся. Я никак не мог показать ему, что «его не звали».

— О, не бойтесь моего брата, — сказала она вдруг. — Он совершенно безобиден. Даже не станет писать в газеты, разве что когда мы попросим.

Герцог отвернулся к ней, улыбнулся и поклонился. Улыбка его была дурацкой, но поклонился он хорошо: либо воспитан с детства, либо это у него в крови.

— Мы все еще сотрудничаем? — спросил он.

— Почему нет? — ответила она.

У меня за спиной заговорили на повышенных тонах. Очередная «контроверза», которая так прославила «Салон Гранжёр» во всем городе.

— Вы забываетесь. Разве я где-то писал, что виноваты вы? Если это похоже на ваш личный ад на земле, какое мне до этого дело? Вы творите и кое-что похуже — вы, вы лично, месье. Разве… разве я сам не видел?

Герцог де Мерш быстро оглянулся через плечо в сторону окна.

— Кажется, там горячатся, — сказал он нервно. — Не пора ли вмешаться, мисс Грейнджер?

Мисс Грейнджер проследила за его взглядом.

— Зачем? — спросила она. — Мы привыкли к разным мнениям. К тому же это всего лишь мсье Раде; он вечно с кем-то воюет.

— Его давно пора выставить за дверь, — пробурчал герцог.

— Ах, это невозможно, — ответила она. — Тогда тетя останется без посетителей. Он очень влиятелен в некоторых кругах. Тетя хочет залучить его для… Он напишет статью.

— Он и так пишет многовато статей, — с заметным недовольством сказал герцог.

— О, он написал *одну* лишнюю, — ответила

она, — но это легко исправить…

— Но никто же ему не верит… — возразил герцог.

Тем временем речь Раде то и дело прерывала тихий голос герцога, доносясь до нас урывками.

— Разве я вас не видел… и потом… и вы предлагаете мне сделать опровержение… желаете купить мое молчание… меня…

Когда все повернулись в сторону окна, где стояли Раде и его собеседник, не мог не повернуться и я. Раде оказался исхудалым, измученным путешествиями и страстями человеком с проседью, пребывавшим в гротескно театральной ярости задетого самолюбия. Его собеседником был изгнанный из своей страны губернатор одной из провинций Système Groënlandais, с вороватыми глазками, болезненным видом и седой бородкой; у него была короткая стрижка, бычья шея и огромное брюхо. Он искоса поглядывал вокруг, не зная, то ли сбежать, то ли дождаться возможности вставить слово. Он окинул взглядом кружок, собравшийся поодаль у окна, и его лицо, заметно горевшее от стыда, стало тверже при виде циничных масок конспираторов со всех концов света. Их эта сцена потешала. Гольштейнец обрел уверенность, пожал плечами.

— У вас с самого возвращения жуткая лихорадка, — сказал он, демонстрируя ровный ряд белых зубов. — У нас-то вы так не говорили.

— Нет — pas si bête[31] — вы бы меня повесили, как того незадачливого швейцарца. Как там его звали? А теперь предлагаете мне опровержение. Потому что у меня жар, hein?[32]

Я следил за лицом герцога; румянец сначала проступил из-под его бороды, затем разошелся по низкому лбу и шее. Из глаза выпал монокль — это стало сигналом для крови, чтобы отлить от лица. Полные губы побледнели и складывали неслышные слова. Глаза с просящим выражением переходили с женщины рядом с ним на меня. Мне не хотелось смотреть ему в лицо. Этот человек торговал человеческой кровью, жил злом — и я его ненавидел. Он должен был поплатиться и еще поплатится, но видеть мне этого не хотелось. Всему есть предел.

Я извинился и хотел уже было ускользнуть между группками выдающихся заговорщиков. Но она сказала мне вслед:

— Ты придешь ко мне завтра утром.

---

[31] Примечания: 31
Не такой дурак.

[32] Примечания: 32
Верно?

Глава двенадцатая

И рано следующим утром я был в «Отеле де Люин» — или «де Грейнджер». У мрачных крыш непостижимого Сен-Жермена еще висел туман; утренний туалет города только довершался; по тихим широким улицам, дребезжа, катились тележки с шлангами. Было так рано, что я еще не успел собраться с духом. Я вышел из дому, подчинившись порыву; ступил за порог молочной лавки, где позавтракал, готовый к решительным мерам. Но начал увиливать; было еще рано, и моя походка уже замедлилась, пока я проходил ряд привратницких на этой мертвой нерасшифровываемой улице. Мне хотелось бежать — хотелось всей душой; но затем я сжег все мосты, задав вопрос невероятно древней одноглазой консьержке. Прошел по еще сырому внутреннему двору, к огромному портику, в прохладный каменный холл, который, сколько бы людей здесь ни проходило, было не вернуть к подобию жизни. Мадемуазель ожидала меня. Пришлось подняться по большой каменной лестнице в чрезвычайно высокую, узкую, невозможно прямоугольную,

как на фронтисписах старинных пьес, приемную. Вся мебель казалась высотой по колено, пока не поймешь, что дезориентирован, и не осознаешь собственного роста. Из окон с большой высоты косо падал разлинованный унылый свет; между тенями медленно проплывала армия пылинок. Через некоторое время, не находя себе места, я прошелся и выглянул во двор. По брусчатке шла консьержка со множеством писем в руках и карманах черного фартука. Я вспомнил, что за мной по улице шел facteur[33]. Из-за приоткрытых створчатых дверей доносились голоса; само собой вспомнилось ожидание у де Мерша. Здесь оно долго не продлилось. Голоса повышались, как бывает в конце беседы, все реже сменяли друг друга и наконец надолго затихли. Высокие двери открылись — и вошла она, а следом за ней — мужчина, в котором я узнал вчерашнего губернатора провинции. В этом безжалостном освещении он выглядел старым, сморщенным и замученным тревогами, как будто лишился своей прежней округлости. Она же сияла собственным светом.

Он безрадостно поздоровался со мной и не оживился, когда она сообщила, что у нас есть общий

---

[33] Примечания: 33
Почтальон.

друг — Кэллан. Похоже, губернатору в качестве руководителя Системы предстояло сопровождать эту выдающуюся особу по диким пустошам Гренландии, скрасить ее путешествие и ознакомить с успехами администрации.

Я пожелал хорошего пути; он вздохнул и начал возиться со шляпой.

— Alors, c'est entendu[34], — сказала она, отпуская его.

Он странно посмотрел на нее, взял ее ладонь и приложил к губам.

— C'est entendu[35], — произнес он с тяжелым вздохом и брызгая каплями пота из-под белых усов. — Mais…[36]

Он снова уставился на нее своими крошечными глазками и затем вышел. У него был такой вид, будто он вот-вот утрет со лба испарину и воскликнет: «Quelle femme!»[37]. Но если такой порыв у него и был, он его успешно подавлял и

---

[34] Примечания: 34
Итак, все понятно.

[35] Примечания: 35
Понятно.

[36] Примечания: 36
Но…

[37] Примечания: 37
Какая женщина!

скрылся за дверью молча.

— Зачем… — начал я еще раньше, чем она затворилась до конца, — …вы позволяете такому человеку заигрывать с вами?

Хотелось захватить позицию превосходства раньше, чем она успеет снова выставить меня дураком. Хотелось произнести длинную речь — о долге перед фамилией Грейнджеров. Но следующее слово застряло в горле, и она ответила прежде:

— Ему?.. О, я его использую.

— Чтобы унаследовать землю? — спросил я с иронией, а она ответила совершенно серьезно:

— Чтобы унаследовать землю.

Она прислонилась к окну, играя со шнурком шторы, став силуэтом на фоне свинцового света. Она выглядела несколько уставшей, и линии ее фигуры складывались нежно, изящно — хорошо сочетались, согласно одной школе живописи. Я так мало знал о ней — не больше, чем нужно, чтобы полюбить, — что это показалось мне началом новой стадии, не столько в ее отношении ко мне, сколько в моем к ней; уже тогда в ней чувствовалась особая серьезность — серьезность человека, на плечи которого ложится тяжелое бремя.

— Но… — нерешительно начал я. Я не мог го-

ворить с ней — с этим новым представлением о ней — так, как планировал: так, как говорят с блестящей, ах… женщиной. Но мне пришлось обратиться к заготовленной речи. — Как тебе помогут заигрывания с этим человеком?

— Все просто, — ответила она. — Он покажет Кэллану всю Гренландию, а Кэллан напишет… у Кэллана огромное влияние на большую аудиторию, и к тому же у него будет престиж… инспектора.

— О, про Кэллана-то я знаю.

— И, — продолжила она, — этот человек получил приказ скрыть кое-что от Кэллана; ты сам знаешь, что именно. Но теперь не скроет, чего я и добивалась. Отчасти взятками и отчасти тем, что он верит в beaux yeux[38], — а значит, Кэллан разочаруется и напишет… разоблачение; ровно такое, какое может написать разочарованный Кэллан. А он разочаруется — из-за того, что ему покажет этот человек. Ты знаешь Кэллана… ему станет плохо. Он же падает в обморок при виде капли крови, а там он увидит — о, самое худшее, хуже всего, что видел Раде. И напишет страшную статью, и она станет приговором для де Мерша…

---

[38] Примечания: 38

Букв. «красивые глаза», здесь — «хорошее расположение».

А де Мерш к тому времени уже занервничает. И твоему другу Черчиллю придется поддержать билль де Мерша о магистрали, несмотря на скандал. Его-то мотивы чисты, но все скажут… Ты и сам знаешь, что все скажут. Вот чего хотим я и Гарнард. Мы хотим, чтобы люди заговорили; мы хотим, чтобы они поверили…

Не знаю, правда ли в ее голосе возникла запинка, или я ее придумал сам. Она стояла, играя со шнурками штор, и раскрывала свой план тихим монотонным голосом. Все это — печальные сумерки комнаты, ее голос — словно проникло неизбывным сожалением. К тому времени я практически забыл историю о Четвертом измерении, да и не верил в нее никогда. Но теперь, впервые, я усомнился. Я своими глазами видел, что она *что-то* да планирует с помощником герцога де Мерша. Об этом практически кричало все поведение губернатора: он не мог посмотреть мне в глаза. Но больше всего именно из-за его голоса и поведения я почувствовал, что мы уже вышли за пределы фарсовой аллегории. Я знал достаточно, чтобы понимать: она может говорить правду. И если так, то ее спокойное признание в таком коварстве доказывало: она и правда та, кем, по ее словам, были выходцы из Четвертого измерения

— холодные, беспринципные, дальновидные, восхитительно отважные — и несомненные враги общества.

— Я не понимаю, — сказал я. — Но… де Мерш?

Она лишь слабо отмахнулась — я хорошо запомнил этот ее жест: маленький, едва заметный. Он свел всего де Мерша к пустому месту; он уже ничего не стоил.

— А, де Мерш, — сказала она. — Он всего лишь винтик. — Мне все еще казалось, что она говорит с жалостью, будто общается с больной собакой. — Он ничего не стоит, нет. Он рассыплется и развеется, уже очень скоро. Ты о нем даже не вспомнишь.

— Но… — начал я. — Ты везде появляешься с ним, будто… О тебе говорят… Все думают… — Теперь, лицом к лицу с ней, мое подготовленное обвинение казалось невозможным. — Я думаю, — добавил я, ощутив прилив вдохновения. — Я даже уверен, что *он* считает тебя…

— Что ж, они так думают. Но это лишь часть игры. О, заверяю, не больше.

Я замолчал. Я чувствовал, что по какой-то причине она хочет, чтобы я ей поверил.

— Да, — сказала она. — Я хочу, чтобы ты поверил. Это хотя бы отчасти избавит тебя от боли.

— Если бы ты хотела избавить меня от боли, — не унимался я, — ты бы разорвала с де Мершем… навсегда.

Я понимал, что решение этой задачи недоступно моему разуму. Будто власть над положением мерцала, невидимая, у меня над головой — так близко, но не дотянуться. Чувствовалось что-то дрожащее, гудящее — какой-то трос, натянутый и трепещущий. Но лучше решения, чем «разорви с ним», мне в голову не приходило. Казалось очевидным и то, что этого не будет, это за пределами возможного, но я все-таки был обязан сделать все, что в моих силах.

— Это… это отвратительно, — добавил я. — Отвратительно.

— О, знаю-знаю, — сказала она, — для тебя… И мне даже жаль. Но по-другому нельзя. Де Мерш должен пасть именно так. Никак иначе.

— Почему? — спросил я только потому, что она замолчала.

На самом деле никакого желания узнавать у меня не было.

— Дело не в самом Черчилле, — ответила она, — не только в том, что де Мерш утащит за собой Черчилля. А в том, что он утащит за собой все принципы, за которые стоит Черчилль. И ты

знаешь, о чем я говорю — о добросовестности, о старом порядке вещей. И чем отвратительнее средство погибели де Мерша, тем отвратительнее все это покажется. Люди — многие люди — считают, что достойный человек не замарает руки хитроумными интригами. А это дело будет… о, очень плохо пахнуть. Ты сам понимаешь.

— Не понимаю, — сказал я. — Не понимаю ничего.

— О да, еще как понимаешь, — сказала она, — понимаешь…

Она надолго замолчала, и с ней молчал я. Расплывчато я осознавал, о чем она говорит: если с таким грохотом рухнет Черчилль, придет конец и вере в добросовестность… или почти конец. Но я не видел, к чему все это приведет, что будет с нами.

— Видишь ли, — начала она опять, — я хочу, чтобы ты пострадал несколько меньше — насколько в этом способны помочь объяснения. Я не умею чувствовать так, как ты, но вижу, пусть и очень смутно, что тебе больно. И потому… я хочу тебя пощадить, правда хочу.

— Но не сделаешь единственного, что поможет. — Я безнадежно вернулся к своему делу.

— Не могу, — ответила она. — Так должно

случиться; иначе нельзя. Как же ты привязан к мелочам. Разве ты не видишь, что де Мерш и… и все остальные… ничего не значат? Они — пыль в общем порядке вещей. Думаю, они не волнуют даже тебя. Они просто случайности; случайности, которые…

— Которые что? — спросил я, хотя уже отдаленно осознавал, что она имеет в виду.

— Которые складываются и ведут к неизбежному, — ответила она. — Разве ты не видишь? Не понимаешь? *Мы* — неизбежны… и тебе нас не остановить. Мы должны прийти, а ты — ты только навредишь себе же, если будешь сопротивляться. — Тут грудь стиснуло от чувства, что это правда — единственная правда. Миг я не мог думать больше ни о чем, ни о чем на свете. — Вы должны принять и нас, и то, что мы символизируем, вы должны отступить — рано или поздно. Оглянись хотя бы вокруг — и все поймешь. Ты стоишь в доме класса, которого больше нет. О, нет уже много веков. И этот класс тоже изо всех сил пытался остановить неизбежное — не только потому, что пропадал сам, но и потому, что с ним пропадало все то, что он символизировал. И тем людям пришлось пережить… и душевную боль… и прочие подобные страдания. Разве не так?

Я не ответил; слишком уж неоспорим был пример. Все именно так. Вот и сейчас те люди — легитимисты — бессмысленно ерничали, прятались от света в своих скорбных домах и ужасно страдали, потому что все, что они символизировали, давно ушло.

— Но даже если я тебе поверю, — сказал я, — это слишком страшно, а твои средства — слишком жестоки; этот человек, который только что вышел… и Кэллан… это они-то — орудия неизбежного? Все-таки Великая революция… — Я с трудом пытался вернуться к осязаемым идеям — идеям, которые можно назвать, датировать и надписать… — Великая революция была благородна по сути и делалась во благо. Но все, о чем говоришь ты, — слишком злобно, слишком мелочно. Ты подкупаешь этого человека, если не делаешь чего хуже, только чтобы он предал хозяина. И вот это ты зовешь помощью неизбежному?..

— Но точно так же говорили и о Великой революции. Что она ни с кем не церемонится. Разве ты не понимаешь? Те, кто так говорил, уходили в прошлое… они и не могли увидеть ничего хорошего…

— А я — мне ты предлагаешь поверить на слово, — горько сказал я.

— И ты тоже не увидишь ничего хорошего, — ответила она, — это невозможно, это нельзя объяснить словами. Мы говорим на разных языках, между нами ничего нет — никакого моста. Мы *не можем* встретиться…

Вот что меня взволновало. Если между нами нет моста и мы не можем встретиться, остается только сражаться; это если верить в ее представление о себе. А если не верить, то выходило, что меня дурачат. И я предпочитал верить в последнее. Если она просто-напросто меня дурачила, то была еще достижима. Если же все обстоит так, как она говорит, то никакой надежды у меня нет — ни капли.

— Я тебе не верю, — вдруг заявил я. Я не хотел верить. Это было слишком гадко — слишком гадко, чтобы описать словами, — и невероятно. Я сопротивлялся, как сопротивляются неизбежному безумию, самой мысли о нем. Оно нависало надо мной — ошеломительное, губительное. Оставалось только бороться — силой, грубо, судорожно, как борются с онемением от мороза. Это было словно мгла, словно ниспадающие клубы дыма, словно физически присутствовало в этой комнате с до нелепости высокими потолками, — вера в то, что символизировала эта девушка, в

ее слова.

— Я тебе не верю, — объявил я. — И не поверю… Ты меня дурачишь… хочешь меня отвлечь… чтобы я позволил тебе водить компанию с этими… этими… Это гадко. Подумай, что это значит для меня, что люди говорят обо мне, а ведь я добропорядочный человек… Ты больше не будешь с ними общаться. Слышишь? Не будешь. Это невыносимо… и ты… ты просто меня дурачишь… чтобы заткнуть…

— О нет, — проговорила она. — О нет.

Ее интонация граничила с печалью, насколько это было для нее возможно. Помню это и теперь — подобное не забывается. Но я от этого отмахнулся. Я был слишком взволнован, чтобы заметить это больше чем подсознательно — как замечают то, мимо чего проносятся бегом. А меня влекла неуправляемая ярость из-за воспоминания обо всем пережитом, о том, что еще предстояло пережить. Я разгневанно горячился, швырялся словами и идеями, как вода несет в сток сор с когда-то опрятных полей.

— Ты, — говорил я, — ты… ты… ты… полощешь древнюю фамилию в грязи… ты…

Не помню, что я говорил. Но помню это — «полощешь древнюю фамилию в грязи». Помню,

потому что тогда сам поразился, до чего жалкая это попытка достучаться до нее. Такой ничтожно пустячный мотив, такой неуместный, что засел в голове. Помню только суть своей речи: если она не заречется — именно так, заречется, — иметь дела с де Мершем, я в тот же самый миг и в этом самом доме разоблачу ее перед тетей.

И она сказала, что это невозможно.

Глава тринадцатая

Смутно помню, как очень быстро шел — едва не бежал — по длинному темному коридору; помню дверь, что открывалась в большой зал. Из него я помню только ряд пастельных портретов слабых и бессмысленных особ в поблекших позолоченных овальных рамах. Головы выдавались вперед от стен и таращились на меня среди кудрей, напудренных париков, жеманные или презрительные, с выражением, что, по всей видимости, господствовало в дореволюционном *monde*[39]. Вдали над бухгалтерскими книгами и розовыми чеками на рабочем столе склонилась моя тетушка — такая маленькая, такая седая, с головой ушедшая в работу.

Должно быть, тем, кто строил эти комнаты, что-то в характере позволяло казаться огромными в глазах подчиненных, лакеев (если только они действительно такими казались). Возможно, чувство, что они — хозяева жизни, придавало им таковой престиж. У тетушки, только временной обитательницы этих чертогов, ничего подоб-

---

[39] Примечания: 39
Свете.

ного не было. Разглядывая колонки цифр из-за очков, она выглядела не больше чем крошечной одинокой старушкой в огромном зале. В голове не укладывалось, что и у нее есть семейная гордость — хоть какая-то гордость, если на то пошло. Она бросила на меня взгляд через плечо, поверх очков.

— А… Этчингем, — сказала она.

Она словно пыталась вернуться в Англию — в Англию с управляющим имением, со списком избранных гостей. Здесь же она почти лишилась превосходства, как если бы мы оказались на необитаемом острове. Я хотел раскрыть правду о женщине, которую она приняла под крыло, хотел всей душой, но из-за того, как тетя понемногу замыкалась в привычной самоуверенности, требовалось аккуратно подвести ее к теме.

— Моя дорогая тетушка, — начал я, — женщина…

И вдруг сама собой бросилась в глаза неуместность темы. Тетушка посмотрела на меня с интересом.

— Значит, ты получил мою записку, — сказала она. — Хотя не думаю, что ее могла принести женщина. Я дала строгие указания. Впрочем, здесь

такие странные обычаи. И мадам — *portière*[40] — бывшая экономка мсье де Люина, у меня на нее влияния нет. Нелепо, но…

Похоже, старушка-экономка из принципа сама разносила письма. Не желала упускать чаевые — да и, надо прибавить, полиция была с ней накоротке. Им мог пригодиться подобный человек в районе мелочных и бесконечных заговоров.

— Я не о том, — сказал я, — я говорил о женщине, что зовет себя моей сестрой…

— Мой дорогой племянник, — прервала меня тетя с безмятежной силой, словно возвращалась к привычной теме, — я не могу… попросту не могу забивать голову твоими разладами с сестрой. Как я писала тебе в утренней записке, в этом городе считай мой дом своим. То, что ты поселился в гостинице, едва ли не оскорбительно. Мне говорили, ты даже… остановился в неподобающем месте… для члена нашей семьи.

Несколько секунд я хранил потрясенное молчание.

— Но, — вернулся я к обвинению, — это важно. Ты должна знать, что она…

Тетя вдруг расправила плечи и застыла. Я будто

---

[40] Примечания: 40
Букв. «привратница».

страшно погрешил против этикета.

— Если ее поведением довольна я, — сказала она, — того же я ожидаю и от тебя.

Она сделала паузу, словно довольная тем, что безнадежно лишила меня права голоса.

— Я не отменяю свое приглашение, — добавила она. — Знай, я *хочу*, чтобы ты перебрался сюда. Но ваши разлады должны прекратиться. Только на этих условиях…

Она говорила с таким видом, будто делала большое одолжение; будто верила, что я всю жизнь дожидался приглашения обратно в лоно семьи. А я — я даже почувствовал облегчение оттого, что никак не могу исполнить свой долг. Я и *не хотел* ничего говорить тете, не хотел разрушить все раз и навсегда. Что-то бы случилось; посвежел бы воздух, как после грозы; я бы понял, как мне быть. Но я боялся знания. В этой тьме свет мог означать бездну у меня под ногами. Я хотел, чтобы все шло своим чередом.

Тетушка вернулась к счетам — тем шестеренкам, благодаря которым без сбоев жили этчингемские имения. Этим она словно показывала, что я мало что значу в порядке вещей, как она его видит.

— Я бы хотела познакомиться с тобой по-

лучше, — сказала она, все еще не поднимая головы, — есть причины…

Вдруг мне в голову пришло, что она задумывается о завещании; что чувствует близость смерти; что у меня тоже есть права. Меня это не очень волновало, но мысль о том, чтобы стать наследником Этчингема… что ж, это дорогого стоило. Так бы я стал важнее для своей псевдосестры. Так бы я получил, можно сказать, отправную точку, чтобы приблизиться к ее идеалу. К тому же я чаще буду с ней под одной крышей, рядом с ней. Казалось, мне нужно так немного — это будет уже половина победы. Я обдумал и произнес слова благодарности.

Я так и не понял всех обстоятельств той сцены; так и не понял, правда ли тетя не знала, что моя сестра — вовсе не моя сестра. Это была женщина чудесного ума и полной беспринципности, хладнокровная и самоуверенная, что позволяло ей легко прерывать любые нежеланные откровения. Она, похоже, часто в этом практиковалась, хотя и не могу сказать, в каких обстоятельствах — может, затыкала несогласных в Англии.

Раньше я думал, что она знала хотя бы часть правды, если не всю; что бремя на ее душе — а оно все-таки было — заключалось в этом. Она дрях-

лела, дряхлела день за днем, и других причин для ее слов я не видел. Тетя производила такое впечатление, будто рассыпается — как минерал под невероятным давлением, кварц в дробилке; будто она глупеет и немеет, как под действием наркотика.

И неудивительно, если она действительно носила в себе такой немыслимый секрет. Порой я смотрел на нее и задавался вопросом: вдруг и она видит скорый приход неизбежного? Она была довольно ограниченна, но не так глупа, чтобы не разглядеть это, если бы оно предстало перед ее глазами. Собственно, подобная мысль всегда угрюмо маячит перед такими, как она, — перед ее классом.

Должно быть, именно это день за днем мало-помалу и давило на ее веки, углубляло дрожащие морщины ее непроницаемого лица. Было в ней некое одинокое величие, пафос последней из рода, из сословия; ощущение покорного ожидания потопа, прислушивания к неизбежному звуку — шуму хлещущей воды.

Каким странным было то время, что я провел у них дома; более чем странным — мертвящим. Дом производил на меня необыкновенное действие, что, возможно, соответствовало расчетам

моей «сестрицы». Позже она на это намекала — говорила, что дрессировала меня, чтобы я сыграл предназначенную роль и приблизил неизбежное.

Нигде я не испытывал такого острого одиночества, как там, — одиночества, что загоняло в глубь себя. Я сидел и работал в обшитых деревом просторных комнатах, очень высоко над улицей. Я писал серию статей для «Ежемесячника», для Поулхэмптона. Как помните, я должен был уловить атмосферу Парижа. То был удивительный процесс. Казалось, там, наверху, я отделен от Парижа так же, как… ну, в Хэмптон-Корте. Писать почти невозможно; голова забита мыслями — заботами, ревностью. Да, мне надо было зарабатывать на жизнь, но и эта цель вдруг потеряла свою привлекательность — по крайней мере, на время.

Панели комнаты меняли тембр любого звука, словно я находился в чреве огромной виолончели. В доме всегда стояла тишина — лишь доносились издали шепотки, как будто роняешь камни в бездонный колодец и вечность спустя слышишь слабый отклик потревоженной воды. Оглядываясь на это время, я вижу себя вечно с поднятым пером, в ожидании слова, которое

всё нейдет и которое мне не так уж интересно записывать. Когда открывалась входная дверь, обшивка сочувственно скрипела тишайшим из скрипов; люди проходили по огромному залу в комнату, где строили козни; проходили вольготно, сопровождаемые смехом и шорохом одежд, чей отзвук спустя долгое время достигал моих ушей только в виде шепота. И тогда меня охватывала безумная ревность. Хотелось стать частью *ее* жизни, но я терпеть не мог этот салон подозрительных конспираторов. Что мне там было делать? Стоять и смотреть на них, зная, что при моем появлении они инстинктивно говорят тише?

Таково было в целом ощущение того времени, но, конечно, так бывало не всегда. Время от времени я приходил на завтрак с тетей, а иногда сидел за столом с ними обеими. Я избегал общаться с ними поодиночке; совершал удручающие визиты вместе с тетей — визиты к жителям Сен-Жермена; людям без выраженной индивидуальности, не считая некоего изможденния, съёженной физиономии и мышления сушеного зернышка. Зато они пытались внушить страх своими именами — именами, напоминавшими о генералах и фланерах невозможно далекого прошлого; именами,

которые будто не могли существовать за пределами мемуаров мадам де Севинье[41]; именами людей, не способных ни на что более деятельное, чем отражаться в зеркалах Salle des Glaces[42]. Я пребывал в таком абсолютном унынии, в таком абсолютном анабиозе, что, похоже, целиком соответствовал представлению тетушки о том, что от меня требуется при сопровождении на этих мероприятиях. Я стоял за спинкой ее кресла и разговаривал, как порядочный молодой человек, с разнообразными присутствовавшими Pères и Abbés[43].

А потом шел домой и передавал атмосферу этих людей. Причем, видимо, из рук вон плохо, потому что письма с чеками от Поулхэмптона сопровождались похвалами от него и заверениями, что мисс Поулхэмптон нравится мое творчество — нравится весьма и весьма.

Полагаю, я сам стал казаться человеком, который знает все и может посвятить другого в

---

[41] Примечания: 41

Маркиза де Севинье (1626–1696) — французская писательница, автор одного из самых знаменитых французских сборников писем.

[42] Примечания: 42

Зеркальная галерея Большого Версальского дворца.

[43] Примечания: 43

Святые отцы и аббаты.

пару-тройку тайных мелочей. В конце концов, кто угодно способен писать о студенческих балах да озерах в Буа, но чтобы писать о закрытых домах на рю де Л'Юниверсите, нужен человек *знающий*.

Также я посещал более громкие мероприятия с сестрой. Я уже так привык слышать, как ее зовут «ваша сестра», что этот эпитет превратился в имя. Она стала «mademoiselle votre sœur»[44] точно так же, как могла бы быть м-ль Пейшенс или Хоуп[45], не имея ничего от названных свойств. Не представляю, чем она занималась на благотворительных ярмарках, унылых танцах, невозможно скверных концертах. Должно быть, у нее была какая-то цель — без этого она из дома не выходила. Моя же роль сводилась к формальному сопровождению — функции ненамного важнее для тех, перед кем я ее разыгрывал, чем для крота глаза. Меня охватывала самая безумная ревность, если она говорила или танцевала с мужчиной, — и *какие* то были мужчины! А потом я пытался пробудить в себе отвагу и чувствовал, как та умирает внутри. Мы ездили в двухместном эки-

[44] Примечания: 44
Букв. «мадемуазель ваша сестра».

[45] Примечания: 45
Букв. с англ. «терпение», «надежда».

паже — транспорте, где запирались вдвоем, но который необратимо уничтожал всякую возможность проявлений любви. На ровных улицах его движение было слишком плавным, на pavé[46] он слишком дребезжал. И мне хотелось признаться ей в любви — о, как хотелось! — но я никогда не был в подходящем настроении либо не выпадало случая. Я подвергался самым гадким припадкам раздражения — не бешенства или уныния, а злости из-за постоянных мелких преград. Я не мог читать — не мог себя заставить. Сидел и слепо таращился в английские газеты — любые, лишь бы не «Час». Де Мерш в то время пропал из виду. В великом герцогстве начались неприятности: он умудрился стать весьма непопулярным у избирателей, чрезвычайно непопулярным. Я читал пикантные статьи о скандале в американской газете, посвящавшей себя подобным темам. Если бы де Мерша изгнали, начались бы международные трудности всех сортов. И был какой-то неведомый князь враждебного семейства, пруссак или русский, мечтавший о той власти, что давила на чело де Мерша. Собственно, кажется, конкурентов было сразу двое и оба с саквояжами

---

[46] Примечания: 46
Брусчатка.

наготове и манифестами в нагрудных карманах ждали момента, чтобы пересечь границу.

Жалобы его верноподданных, говорилось в парижско-американской «Газетт», тесно связаны с финансами, а личные средства и казна великого герцогства де Мерша неразрывно переплелись с авантюрными планами, на которых он стремился заработать такое состояние, чтобы посмеяться сразу над полудюжиной великих герцогств. Собственно, писали, что и у самого де Мерша собран саквояж на тот день, когда британская поддержка его гренландских планов позволит ему обогатиться и посмеяться над собственным сварливым ландтагом.

Меня это заботило столь мало, что я так и не вник в подробности. Я не желал ему добра, но пока он держался от меня подальше, то и ненавидеть его не собирался. Наконец дела Гольштейна-Лауневица перестали занимать газеты: вопрос разрешился, русский и прусский князья распаковали свои саквояжи и, надо думать, предали свои манифесты огню — или переписали под нужды других земель. Дела де Мерша уступили место в общественной печати проблеме высокой стоимости денег. Говорили, кто-то и где-то что-то задумал. Я пытался вчитываться, разбираться в

деталях, потому что мне не нравилось оставлять целую сферу знаний неисследованной. Я читал о великих учетных домах и прочем, что мне абсолютно ни о чем не сообщало. Понял только, что великим домам очень тяжело, а всем остальным — того хуже.

Однажды это докатилось и до меня — когда от Поулхэмптона вместо обычного чека пришла расписка. Их обналичивать было труднее; люди на них откровенно косились. За завтраком я посовещался об этом с тетей. Подобные вещи интересовали женщину делового склада ума, а тем для разговоров нам всегда не хватало.

Мы завтракали в довольно маленькой комнате — других в том доме не было; тетя сидела во главе стола с видом человека en famille[47], какой ее в другое время дня было не застать. И дело не в одежде — она же не из тех, кто носил пеньюар, — а скорее в манере, что становилась холоднее лишь спустя несколько часов.

Я передал ей расписки Поулхэмптона и объяснил, что не могу их обналичить; что у меня есть самое расплывчатое понимание, что они вообще такое. Потрясая несчастными бумажками, она

---

[47] Примечания: 47
В кругу семьи.

приступила к нотациям о важности того, что называла «деловой грамотностью».

— Разумеется, тебе необязательно разбираться во всех мелочах, — сказала она, — но я всегда утверждала, что одна из обязанностей…

Она прервалась, когда вошла сестра; посмотрела на нее, потом протянула бумажки ей. Те слегка дрожали — должно быть, дрожала и рука.

— Ты же собираешься к Хальдершродту? — спросила она. — Попросишь его заняться этим для Этчингема?

Мисс Грейнджер небрежно глянула на расписки.

— Собираюсь во второй половине дня, — ответила она. — Этчингем может поехать со мной… — Вдруг она обернулась ко мне. — Значит, дела твоего друга шатки, — сказала она.

— Так вот что это значит? — уточнил я. — Но я слышал, он и раньше уже так делал.

— Значит, дела были шатки и раньше, — ответила она, — но, смею предположить, Хальдершродт…

— О, не стоит беспокоить такую особу по поводу столь смешной суммы, — перебил я. В те времена имя Хальдершродта означало суммы не меньше миллиона.

— Мой дорогой Этчингем, — перебила в изумлении тетя, — для него угодить нам дорогого стоит…

— Я и не знал.

В тот же день мы поехали в личную контору Хальдершродта, в роскошные — вот mot juste[48] — комнаты на первом этаже дома по соседству с Sans Souci[49] герцога де Мерша. Я сидел в позолоченном плюшевом кресле, пока моя псевдосестра обсуждала дела в соседнем кабинете, в точности соответствующем комнате, где в свое время отсиживался де Мерш, когда меня о нем предупреждала та дама. Скоро пришел клерк, провел меня в кассу, где другой клерк обналичил мою расписку, а потом меня вернули к плюшевому креслу. Но занять я его уже не успел. Для моей сестры придерживал дверь очень худосочный и высокий эльзасец. Он ничего не сказал, но чуть склонился, когда она прошла мимо. Я мельком заметил красное вытянутое лицо, очень усталые глаза и волосы чуть ли не удивительной белизны — у сравнительно молодого человека, — причем

---

[48] Примечания: 48

Верное слово.

[49] Примечания: 49

Сан-Суси — название резиденции короля Фридриха Великого. В переводе буквально «без беспокойства».

безо всякого лоска: мертвая белизна, подобная снежной. Я с ужасом вспоминаю те белые волосы, но при этом почти не помню самого лица великого барона де Хальдершродта.

У меня еще оставалось ощущение встречи с личностью колоссальной важности, когда мы спускались по широким ступеням белого мрамора под красным ковром. Внизу, глядя на нас и поставив одну ногу на ступень, ожидал прекрасно одетый и прекрасно ухоженный мужчина. Я так редко вспоминал герцога де Мерша, что вид его лица почти не вызвал никаких чувств. Тогда как оно загорелось от удовольствия.

— Ты, — сказал он.

Она стояла, глядя на него с высоты двух ступеней с невыносимым равнодушием.

— Значит, пользуешься общей лестницей, — сказала она. — Иной может подумать, к подобным людям ты ходишь через отдельную дверь.

Он нервно рассмеялся, покосившись на меня.

— О, я… — начал он.

Она чуть сдвинулась с места, чтобы дать ему пройти.

— Значит, все разрешилось — là bas[50], — ска-

---

[50] Примечания: 50
Там.

зала она, имея в виду, судя по всему, его великое герцогство.

— О, каким-то чудом, — ответил он, — и я премного обязан — премного — твоим советам…

— Обязательно расскажешь сегодня вечером, — сказала она.

У лица де Мерша было то удивительное свойство, что я замечал во всех лицах вокруг: кожа словно потеряла весь блеск, глаза словно никогда не поднимались от земли, избегая смотреть на мир. Когда он просиял, отвечая ей, я заметил его усилие. Как будто на его плечи давил вес всего мира — чувство, что я разделял с этими людьми, не вполне его понимая. И только *она*, не считая некой рассеянности, казалась единственной свободной от этой напасти.

Когда мы сели бок о бок в нашей карете, она вдруг сказала:

— Видишь, они дошли до грани.

Я отпрянул от нее; я не видел и видеть не желал. О чем прямо и сказал. Мне даже показалось, де Мерш преодолел все свои неприятности là bas, начал новую жизнь.

— Я думал, — начал я, — я уже давно думал, что…

Колеса двухместной кареты вдруг ужасно за-

дребезжали по узкой мостовой. Говорить стало невозможно, и я замкнулся в себе. Так я обнаружил, что разгневан — страшно разгневан. Вид этого человека, то, как она его приветствовала, их обнаружившаяся в короткой сцене близость… все это выбило меня из колеи. В последнее время, в отсутствие тревоги, у меня возникло ощущение, что я — важная часть ее жизни, хоть это ничем и не подтверждалось. Эта мысль основывалась не на здравом смысле, а на привычке, родившейся в отчаянии моего одиночества.

Мы выехали на широкий бульвар, и карета покатила бесшумно.

— Что де Мерш сломался, — вдруг договорила она мою незаконченную фразу. — О, то был только отдаленный рокот — предостережение. А теперь ждать осталось недолго. Я приперла их к стенке. Хальдершродт… полагаю, он покончит с собой через пару дней. И вот тогда… тогда начнется веселье.

Я не ответил. Все это тогда не произвело на меня впечатления — ничуть.

Глава четырнадцатая

В тот день у нас произошла сцена, а вечером — вторая. Память о них слегка затуманена. События вдруг стали развиваться так быстро, что я не могу уложить их по порядку, как ни стараюсь. Не могу даже отчетливо вспомнить, что она говорила в том первом объяснении. Должно быть, я накинулся на нее из-за де Мерша, все с теми же словами; наверняка сказал, что ради своей фамилии не позволю снова видеться с этим человеком. А она в ответ рассказывала — о, рассказывала ужасные вещи о том, как подмяла Хальдершродта под себя и давила на него. Хальдершродт был главным банкиром де Мерша; его падение приведет к падению герцога, и так далее. «И так далее» в данном случае значило очень многое. Хальдершродт, оказывается, и был тем, кто «что-то затеял», как выражалась американская газета, а вернее, он и объединенные компании, которые он представлял. Подробностей я не помню. Они были слишком сложными и слишком чуждыми, а я — слишком взволнованным, чтобы уделить им внимание. Но если вкратце, падение Халь-

дершродта означало бы Черный понедельник — страшную вещь при нынешнем уровне общественной уверенности, но мало значившую для меня. Не помню, как именно она приперла его к стенке. Не забывайте, Хальдершродт был третьим представителем влиятельной династии; человеком, который не обладает особым даром и отлично об этом знает; человеком, одержимым погоней за огромным успехом, подобным успеху основателя его династии, — и тут важную роль сыграло бы предвидение, умение разбираться в международных делах. Такая одержимость и была его слабостью, слепым пятном, и моя сестра этим воспользовалась. Как я уже сказал, подробностей я не помню, если вообще их слышал; они касались какой-то монархической революции — революции, что вызвала бы обвал по всему миру и затевалась в нашем салоне. А сестра революцию прикончила — видимо, предала, — и никаких последствий не настало, а Хальдершродт с партнерами остались не у дел.

Все это было историей знамений, которые так и не воплотились, историей зыбучих песков, из которых смогли выбраться только люди с самыми холодными головами.

— А у нас… у нас головы холодные, — сказала

она.

Ее невозможно было слушать без содрогания. Если мне имя Хальдершродта о чем-то и говорило, то о надежности; это было могущественное имя, и это был человек, которого я только что видел, человек, кого разум по привычке наделял прозорливостью, достойной короля. Страшно было даже подумать о его бесславной гибели; так же страшно, как если бы она показала на совершенно здорового человека на улице и сказала: «Он умрет через пять минут». А ведь именно так она и сказала о Хальдершродте… Он салютовал ей, отправляясь на смерть; тот сдержанный поклон, что я видел, и был приветствием смертника.

Все это меня так разволновало, что я и не заметил, как к нам вошел Гарнард. Я не видел его с того вечера, когда он и герцог де Мерш ужинали у Черчилля, но он уже так прочно ассоциировался с моими нынешними чувствами, мышлением, что не удивил меня, когда безмолвно проник в нашу сцену. Меня позвали из комнаты — кто-то желал меня видеть, и я, всё с теми же чувствами, перешел в общество полного незнакомца — человека, который в памяти остается для меня лишь голосом. Он заговорил о здоровье моей тетушки. Говорил, ей все хуже; убедительно просил

воспользоваться своим влиянием и забрать ее обратно в Лондон, чтобы показать сэру Джеймсу — возможно, я, живущий в этом доме и плохо знающий тетю, и не замечаю, но вот он… Он оказался стряпчим моей тети. И был совершенно прав: моей тете становилось хуже, всего за несколько часов моего отсутствия она заметно сдала. Она принимала у себя стряпчего, чтобы изменить завещание, потом виделась с мистером Гарнардом, и отчего-то ее постиг удар, лишивший всякой силы воли. Она сидела откинув голову, закрыв глаза, и, казалось, ее лицо стекает с черепа.

— Мне ясно как день, что нужно срочно устроить ваше возвращение в Англию, — говорил юрист, — несмотря на все планы мисс Грейнджер, мистера Этчингем-Грейнджера или даже мистера Гарнарда.

Я отрешенно задумался, при чем тут мистер Гарнард, как тут вошла сама мисс Грейнджер.

— Они хотят… — тихо произнесла тетя, — они меня уговаривают… вернуться… кажется, Мередит, ты сказал — в Этчингем.

И вдруг я осознал, что сам хочу вернуть ее в Англию, очень хочу, хочу вырваться из этого переплета, убраться в надежный, понятный мир. Здесь же все было как в тумане, и почва дрожала

под ногами.

— Что ж… — раздался вердикт мисс Грейнджер. — Можем отправляться, когда пожелаете. Хоть завтра.

И неожиданно стали обретать форму планы, в воздухе разлилась суета отъезда. Меня попросили проводить юриста до привратницкой — путь довольно долгий. Всю дорогу он извинялся, что так торопится в Лондон.

— Я мог бы пригодиться; при спешных отъездах вечно что-нибудь случается. Но поймите меня, мистер… мистер Этчингем: в нынешние времена я едва смог выделить время на поездку к вам. Вы поразитесь, сколько на меня свалилось лишней работы и как далеко распространилось зло. Люди как с ума сошли. Даже я потрясен.

— Я и не знал.

— Ну конечно, конечно; и никто не знал. Но, если я не ошибаюсь, будет расследование, и очень повезет тем, кто не имеет к происходящему никакого отношения…

Я уловил из его объяснений, что все плохо, как далеко, так и поблизости; что разгорались скандалы и звучали требования полного обновления верхов. Я проводил стряпчего до фиакра и вернулся через внутренний двор уже медлен-

нее, задумавшись о своей роли в отъезде, гадая, насколько последние события сделали меня соучастником семейных дел.

Я обнаружил, что моя негласная функция — функция сиделки, оазис личной заботы посреди засухи фальшивой наемной прислуги. От меня требовалось поправлять плед *чуточку* удобнее, чем служанка, которая ехала в экипаже, — вносить завершающие штрихи.

Удивительно, как гладко все шло — я имею в виду отъезд. Теперь я лучше понял, что за женщина моя тетя, чем во время паники ее стряпчего. Отъезд произошел быстрее, чем исчезает табор цыган, разбивающих лагерь на холме у кустов дрока. Тем вечером мы отправились на бал из дома, словно бы пустившего корни глубоко в прочную скалу, а уже утром нас и след простыл.

На том балу закончились как интриги моей сестры, так и мое терпение. Потом я провел нескончаемую ночь — из тех ночей, что никак не завершаются и остаются в памяти дрожащими и болезненными. Меня словно заливал свет, я наблюдал из-за подвижной ширмы колышущихся платьев за ней и герцогом де Мершем. Не знаю, правда ли их отношения так бросались в глаза, но мне казалось, о них говорят все — просто не

могут не говорить. Я так и слышал, как дамы отпускают с улыбочками замечания, прикрывшись веерами; как мужчины им неслышно отвечают, не поднимая глаз от пола. Собрание было смешанным — похоже, хозяин разом закрывал все свои светские долги, — и хватало людей того сорта, что отпускают замечания. Ненавидел я не саму заметность их отношений, а то, что сестра ставила меня в невозможное положение и подтверждала мои страхи. Я сверкал глазами по углам — и, полагаю, сам был слишком заметен.

Кризис разразился поздно вечером. Там был зимний сад, где гигантские пальмы уходили вверх, теряясь в глубокой тьме. Я рыскал в тенях широких листьев металлического вида, ругаясь себе под нос в припадке нервного раздражения; дрожал, как конь, измученный кнутом тупого и беспощадного кучера. Передо мной возник зияющий тоннель длинной аллеи, и вдруг в него вошел де Мерш с полосой синей ленты через грудь, под руку с ней. Сам де Мерш меня даже не волновал. Он умел сиять, но его жалкие огни бледнели подле ее сверкания менады. Было что-то ошеломляющее в ее виде, в пламени ее глаз, в свечении кудрей, в манере держать голову. Она пришла в каком-то платье из начала девятна-

дцатого века, ниспадающем от талии нежными складками, которые придавали ощущение утонченности, чистоты почти необыкновенной силы. А под платьем широко и пружинисто ступали ее ноги — походкой торжествующей Дианы.

Не передать, как ужасно я себя чувствовал, страдая от черного беспомощного томления; отчасти унижением любителя подслушивать, целиком — унижением неудачника.

Тут вдали показался Гарнард, неощутимо двигаясь по длинному зеленому коридору — фигура зловещая, напоминающая безмолвием своего приближения неподвижный полет хищника. Он нагнал их в поле моего зрения и пошел с ними без предварительного приветствия, что выдавало большую близость. Я постоял несколько секунд — несколько минут — и затем поспешил за ними. Я собирался что-то сделать. Наконец я нашел де Мерша и Гарнарда стоящими лицом к лицу в одном из дверных проемов: Гарнард — маленький, мрачный, бесстрастный столб; де Мерш — громоздкий, нависающий, багровый. Он широко расставил ноги и громко говорил, размахивая руками. Я подошел со стороны и остановился рядом, требуя внимания к себе.

— Я хочу, — начал я, — я был бы чрезвычайно

рад, если бы вы уделили минуту, мсье.

Я понимал, что мой голос дрожит, даже охрип от волнения. Я еще не знал, что предприму, но верил в свои силы самоконтроля — знал, что справлюсь с ситуацией. Возникла пауза, удивленное молчание. Гарнард развернулся и пронзил меня критическим взглядом из-под своего монокля. Я отвел де Мерша в сторону, в одиночество пальмовых ветвей, и заговорил раньше, чем он успел задать вопрос.

— Поймите, я бы не стал вмешиваться без достойного повода, — говорил я, когда он перебил меня хриплым, шутливым голосом:

— О, мы это понимаем, мой добрый Грейнджер, и…

— Дело в моей сестре, — сказал я. — Вы… вы зашли слишком далеко. Я прошу вас как джентльмена прекратить преследовать ее.

— Какого дьявола! — воскликнул он, и затем: — А если нет?..

В его голосе, поведении читалось, что он несколько… ну, gris[51].

— Если нет, — сказал я, — я запрещу ей видеться с вами, и я…

---

[51] Примечания: 51
Подвыпивший.

— Ого-го! — перебил он с интонацией зрителя фарса. — Вот в чем дело: мы такой замечательный брат! — Он помолчал, потом добавил: — Ну так идите к черту со своими запретами. — Он все еще говорил добродушно.

— Я серьезен, — сказал я, — совершенно серьезен. Это зашло слишком далеко, и ради себя самого вам лучше…

Он ответил «Ах-ах!» в тоне своего же «Ого-го!».

— Она вам не друг, — старался достучаться я. — Она играет вами ради своих целей; вы…

Он чуть пошатнулся:

— Браво… брависсимо. Раз нельзя запретить, мы его запугаем. Продолжайте, старина… — И прибавил: — Ну же, продолжайте…

Я оглядел этого плечистого детину сверху донизу. Вдруг захотелось, чтобы он меня ударил, дал повод — что угодно, чтобы закончить сцену скандалом, с дракой и яростными обвинениями.

— Так вы наотрез отказываетесь меня слушать? — спросил я.

— О, совершенно.

— Вы знаете, что я тоже кое на что способен: я могу вас разоблачить.

До этого я и сам плохо представлял, что могу, что множество очерняющих деталей и массу

моей ненависти возможно сплавить в единое губительное целое. Он пронзительно, истерически рассмеялся. Над нами бледно разливался рассвет, траурно просачиваясь через стекло оранжереи. Мимо начали проходить, закутываясь, люди, разъезжавшиеся по домам.

— Можете пойти… — начал было де Мерш.

Но тут он изменился в лице. Из двери вышла мисс Грейнджер, закутанная, как и весь мир.

— Мы тут вели очаровательную… — заговорил он. Она ласково коснулась моей руки.

— Идем, Артур, — сказала она и потом обратилась к нему: — Ты слышал новости?

Он уставился на нее мутным взглядом.

— Барон Хальдершродт наложил на себя руки, — сказала она. — Идем, Артур.

Мы медленно двинулись с места, но де Мерш увязался за нами.

— Ты… ты же пошутила? — спросил, схватив ее за руку так, что развернул лицом к себе.

В его глазах стояла безумная мольба, словно он надеялся, что, забрав свои слова обратно, она спасет его от необратимой катастрофы. Он весь без остатка превратился в панический, умоляющий взгляд.

— Мне рассказал мсье де Сабран, — ответила

она, — он только что вернулся с constatation[52]. К тому же сам слышишь…

От группки, проходившей мимо нас, донеслись обрывки фраз. Дряхлый старик с носом, чуть ли не касавшимся его пухлых губ, говорил другому такому же:

— Застрелился… в левый висок… Mon Dieu![53]

Де Мерш медленно двинулся от нас по длинному зеленому коридору. Он шел неестественно, словно подражая строевому шагу поры своей службы в прусской гвардии. Моя спутница смотрела ему вслед так, словно оценивала степень его отчаяния.

— Так и напрашивается сказать Habet[54], да? — спросила она меня.

Я думал, больше мы его не увидим, но, пока мы ждали в предрассветном мраке, когда откроются ворота внутреннего двора, на длинной улице свирепо загрохотали копыта и с нашим экипажем поравнялся чужой. Спустя миг к нам в окно

---

[52] Примечания: 52
Объявление (о смерти).

[53] Примечания: 53
Боже мой!

[54] Примечания: 54
Имеет (*лат.*), то есть «Получил!» — восклицание, которым в римском цирке приветствовали ранение гладиатора.

стучался де Мерш.

— Ты… Ты… — заикался он, — поговоришь… с мистером Гарнардом. Это наш единственный шанс… сейчас. — Его голос врывался к нам, смешиваясь с холодным утренним воздухом. Я содрогнулся. — У тебя столько влияния… на него и…

— О, я… — начала она.

— Проект должны одобрить, — сказал он, — иначе…

Он замолчал. Большие ворота перед нами бесшумно открылись, мы увидели внутренний двор. Светлело. Она не отвечала.

— Говорю же, — не унимался он, — если британское правительство откажется от моей железной дороги, от всех наших планов…

— О, правительство *не откажется*, — сказала она, сделав ударение на глаголе.

Он отступил от колес, и мы свернули во двор, оставив его стоять на улице.

* * *

В большом зале, обычно отведенном для политических заговорщиков, стоял накрытый стол, освещенный парой свечей в высоких серебряных подсвечниках. Я ощущал бешеный голод и

свирепое возбуждение, от которого мысль о сне казалась чем-то из призрачного прошлого. Сам того не замечая, я что-то жевал, меряя шагами зал. Она стояла в слабом свете рядом со столом. Высокие окна отливали бледно-голубым. Было очень холодно и ужасно поздно; те бесконечные рассветные часы, когда замедляется пульс, когда реже тикают часы, когда пропадает само время.

— Понимаешь? — спросила она вдруг.

— О, я понимаю, — ответил я. — И… и что теперь?

— Теперь мы почти закончили друг с другом.

Я вдруг почувствовал, будто падаю. Я никогда не видел это так, отказывался взглянуть фактам в лицо. Так привык к мысли, что мы будем неразлучны до конца моих дней, так привык к чувству, что я важная часть ее жизни…

— Но… — начал я. — Что будет со мной?

Она стояла, глядя в пол… стояла долго. Наконец произнесла тихим монотонным голосом:

— О, постарайся забыть.

Меня поразила новая мысль — осенившая, ошеломившая.

— Ты… ты сочувствуешь, — поддразнил я. — Уже не такая уверенная, не такая холодная. Я вижу, что ты изменилась. Клянусь душой…

Вдруг ее глаза распахнулись и так же внезапно сощурились. Она ничего не ответила. Я почувствовал невыносимую боль — боль возвращающейся жизни. Она уходила. Я должен остаться один. Снова стало существовать будущее — проглядывало, как судно сквозь туман, безмолвное, фантасмагоричное, огромное — отвратительное будущее, полное необратимого раскаяния, одиночества, тоски.

— Ты вернешься к работе с Черчиллем, — сказала она вдруг.

— Откуда ты знала? — выпалил я. Мое отчаяние нашло выход в этом выплеске незначимого вопроса.

— Ты оставлял без присмотра свои письма, — сказала она. — К тому же… так для тебя будет лучше.

— Не будет, — сказал я с горечью. — Для меня уже ничего не будет как прежде. Мне не нужен Черчилль. Мне нужна…

— Нужна? — повторила она все тем же тихим голосом.

— Ты, — ответил я.

Наконец она заговорила, очень медленно:

— О, я собираюсь выйти замуж за Гарнарда.

Не знаю, что я сказал тогда, но помню, что

повторял это снова и снова, предложения ритмично мчали взад-вперед в моей голове: «Ты не можешь выйти за Гарнарда; ты не знаешь, что он за человек. Ты не можешь выйти за Гарнарда; ты не знаешь, что он за человек». Вряд ли я знал что-то конкретное, очерняющее Гарнарда, но такое у меня было чувство, и чувство убедительное — сильнее, чем могли бы доказать любые факты.

— О… что он за человек… — сказала она и замолчала. — Я-то знаю… — И вдруг заговорила очень быстро: — Как ты не видишь?.. как не понимаешь? Я выхожу за Гарнарда не из-за того, какой он человек в этом смысле, а из-за того, какой он в другом. Это вовсе не свадьба в твоем понимании. И… и это тебя не касается… ты не *видишь?* Мы должны разорвать друг с другом, потому что… потому что…

Я почувствовал прилив вдохновения.

— Я верю, — произнес я очень медленно, — я верю… что ты не равнодушна.

Она промолчала.

— Ты не равнодушна, — повторил я.

Она возразила с жаром, в котором чувствовалась угроза.

— Думаешь, я хочу быть такой? Думаешь, могу?.. или осмелюсь? Как ты не понимаешь? — она

запнулась. — Но… — добавила она и замолчала на долгую минуту. Я чувствовал в голове, в висках, гул тысячи пульсов. — О да, я не равнодушна, — произнесла она медленно. — Но от этого… от этого только хуже. Что ж, да, я не равнодушна — да, да. Мне больно тебя видеть. Я могу… это может меня сбить с курса. У меня есть проложенный курс. А ты… Как ты не видишь: ты на меня влияешь; ты будешь… ты уже стал… для меня… болезнью.

— Но, — начал я, — я могу… я сделаю… что угодно.

Я имел только самое смутное представление, на что готов ради нее.

— О нет, — ответила она, — не говори так. Ты не понимаешь… Тебе это принесет мучения — а я… я не выдержу. Как ты не понимаешь? Уже сейчас, до того, как ты исполнил свою роль, я хочу — о, как же хочу — отпустить тебя… Но нельзя; нельзя. Ты должен продолжать… и потерпеть еще немного — и тогда…

Чувствовалось напряжение, натянутая и дрожащая струна. Я трепетал от возбуждения, лишившего меня дара речи, выходившего за пределы моего понимания.

— Как ты не понимаешь… — повторила она вновь. — Ты — прошлое, уходящее. Мы не можем

встретиться. Ты… для меня… лишь портрет человека — покойного… о, уже очень давно; а я для тебя — лишь возможность… идея… Ты трудишься, чтобы воплотить меня, сделать возможной.

— Но… — начал я. Эту мысль так трудно было осознать. — Я обязательно… должен быть выход…

— Нет, — ответила она. — Выхода нет: ты должен вернуться. Попытайся. У тебя останется Черчилль и то, что он символизирует… Он не умрет, его даже не обеспокоит поражение в этой игре… не так уж сильно… А меня тебе придется забыть. Другого выхода нет — как нет моста. Мы не можем встретиться, ты и я…

Эти слова разожгли во мне ярость. Я принялся раздосадованно мерить шагами комнату. Хотелось сказать, что я брошу ради нее все, раздавлю себя, стану бездушным оружием в ее руках, сделаю что угодно. Но я не мог вырвать слов из камня, что словно окружил меня.

— Если хочешь, можешь даже ему рассказать, что мы с Гарнардом планируем. Ничего не изменится: он падет. Но тебе же хотелось бы… чтобы он еще поборолся, да? Это все, что я могу сделать… для тебя.

Я заговорил — заговорил так, будто не открывал

рта годами. Дом словно ожил: послышался шум открывающихся дверей, голосов снаружи.

— Я верю, что ты не равнодушна, — сказал я, — и бросишь ради меня все. Я верю, что ты можешь, и прошу тебя об этом.

Я продолжал метаться взад-вперед. Звуки наступающего дня становились все громче — пугающе громкими. Они словно подгоняли, требовали скорее высказать, что у меня было на душе, повысить голос, чтобы быть услышанным в шуме пробуждающегося мира.

— Я верю… верю… — твердил я снова и снова, — и ты нужна мне.

Мой голос становился громче и громче. Она стояла без движения — непостижимая белая фигура, словно немая греческая статуя, гармония тяжелых ниспадающих складок в идеальном покое.

— Ты нужна мне, — повторил я. — Нужна, нужна, нужна, нужна.

Я уже не мог слышать сам себя.

— О, замолчи, — сказала она наконец. — Замолчи! Если я была так тебе нужна, я всегда была здесь. Теперь уже поздно. Все эти дни; все эти…

— Но… — начал я.

Кто-то снаружи распахнул створки большого окна, и на нас пролился свет внешнего мира.

Глава пятнадцатая

Мы расстались на следующий день в Лондоне, бог знает где. Она настолько казалась частью меня — скорее чем-то в разуме, чем физическим телом, — что я и не помню, где ее наконец потеряли из виду мои глаза.

Я переехал из страны в страну опустошенный, препроводил тетушку в ее большой дом на мрачной площади в известном районе, затем мы расстались. И даже после казалось, что она еще рядом, только оглянись — и я встречу ее взгляд. Она оставалась движущей силой, а я — лодкой на пруду, плывущей все медленнее и медленнее. Столь долго я пробыл в тени великого дома, взаперти в его сумраке, что весь этот свет, пылающий мир — а в Лондоне стоял июньский день — казался невозможным и ненавистным. Там не было ничего, кроме медленно тянущихся, угасающих минут; здесь же было прошлое, будущее. Я как будто стоял между ними в расщелине под непреодолимыми скалами.

Я механически, как в тумане, договаривался о жилье, переехал в комнаты в клубе, подоб-

ном огромному мавзолею. Вдруг я вспомнил, о чем думал: она говорила о Черчилле. Утром предыдущего дня от него пришло письмо. Когда я его прочел, Черчилль со своим «Кромвелем» всплыли в памяти странными фантомами; один столь же нереальный, сколь другой далекий. Казалось, я ушел от обоих на эпохи вперед. И первый, и второй так же принадлежали прошлому, как принадлежит прошедший год. Мысль о них проявилась не в виде неприятного трепета, что, как правило, вызывают совсем недавние temps jadis[55], а скорее в виде розовой прожилки в сереющем вечере. Я просмотрел письмо; бросил недочитанным среди прочего вороха. И тогда показалось, что есть гавань, в чье устье меня медленно влекло.

Теперь мне предстояло снова перебрать письма, все; опустошенному, собрать нити прошлого и вернуть его к жизни, как возвращают утопленников. Я взялся за это безо всякого интереса. В то время оставалось дело моей тети — дело, что должно было привести меня в Этчингем; что-то в связи с ее управляющим. Кажется, старушка планировала ознакомить меня с положением, ко-

---

[55] Примечания: 55
Старые времена.

торое я, как уже негласно стало ясно, скоро займу. Я собирался туда посмотреть на текущие изменения, подготовиться к возвращению тети. Я так устал, так чертовски устал, а в дне осталось еще столько утомительных часов, что я чутьем понял: чтобы не лишиться разума, я должен утомить себя еще сильнее, должен продолжать — пока не затону окончательно. Тем же вечером я прибыл в гавань Этчингема. Отправил посыльного в дом Черчилля и дождался ответа о том, что он у себя, а потом спал и спал.

Очнулся я снова в мире — в том, где есть управляющий и поместье. Было ощущение, что их вид придал мне сил — вид солнца на земле, гладких золотистых камней длинных зданий; звон колоколов, что удивительно нежно плыл над невысокими холмами. Это ощущение происходило не из надежды, что в будущем все это станет моим, но из острого осознания того, что́ все это символизировало. Тогда я этого еще толком не понимал, но позже понял; тогда же мне было достаточно вновь обрести силы, чтобы вернуться к обыденной жизни. На улицах царила атмосфера праздника — не такая яркая, чтобы требовать еще и флагов, но все же говорящая о скором важном событии.

Под конец осмотра всех коттеджей управляющий объяснил, что в окрестностях и правда скоро состоится праздник — «птичья выставка с политической частью», где последней заведовала мисс Черчилль. Планировалась речь и самого Черчилля, ожидалось некое объявление. Я обнаружил в своей гостинице лондонских репортеров, отдаленно знакомых. Они умеренно обрадовались мне и за обедом известили, о чем «говорят люди» касательно внешней стороны тех событий, чью изнанку я знал слишком хорошо. У большинства было выражение, как у стряпчего моей тетушки, когда тот признался: «Даже я потрясен…», — но их от необходимости скрывать шок избавляла профессия. «*Всего* знать невозможно». Они с интересом перебирали причины, спорили, но были удивительно единодушны относительно последствий, то есть паники и народных требований обновления верхов. Удивляло и то, как на горизонте постоянно маячила фигура де Мерша. Словно весь свет сошелся на нем, словно герцог представлял собой дух современности, который требовалось изгнать огнем, прежде чем все сможет вернуться в свою колею. Я-то знал, что он собой представлял… но что я мог?

Это было частью и моей программы — посе-

щение птичьей выставки; прослушав речь, я собирался вместе с Черчиллем в его коттедж. Ощущения от выставки были поразительные. Я прибыл с опозданием, вместе с репортером «Часа», которому хотелось сделать мне одолжение и провести меня бесплатно; он старался угодить, ведь я имел репутацию знакомца многих знаменитостей. И в самом деле, здорово было оказаться в гуще событий, гулять по многолюдному зеленому лужку, окруженному высокими деревьями и утыканному здесь и там полосатыми шатрами. И что за лица, что за костюмы! Еще позавчера они казались невозможными.

Здесь присутствовала свита мисс Черчилль — стайка дам, а также кисейных, шуршащих, подыскивающих мужа дочерей: постоянный щебет голосов — и россыпь ошеломленных их видом крестьян в скучных одеждах.

Одна леди окинула меня взглядом, пока я стоял на свободном пятачке, внимательно изучила через очки с оправой из черепахового панциря на тонкой ручке, затем поманила к себе.

— Вы не заняты? — спросила она.

Она явно претендовала на голос графства подобно тому, как моя тетя задавала ритмы здешней жизни и решала, кто достоин внимания, а мисс

Черчилль задавала политический тон.

— Тогда подождите со мной, — сказала она. — Моя дочь сейчас со своим «молодым человеком». Я правильно выразилась, да?

Эта леди была под два метра ростом; иной бы назвал ее пышногрудой — если бы осмелился.

— Меня обидели, — продолжала она, — и мне нужно кому-то выговориться. Идемте. *Вот!* — Она показала ручкой очков на загон с блестящими черными курицами. — Полюбуйтесь!.. Даже не похвалили! А уж как я о них пеклась, уверяю вас, — думала показать пример всем нашим арендаторам. Приз отдали одному из них… а это же все равно что сказать, будто он — пример для *меня*. И потом мы удивляемся, что наша страна катится псу под хвост. Я вас уверяю, после каждого завтрака я собирала объедки с тарелок — так рекомендуется в справочниках по разведению птиц — и кормила их собственными руками.

Это в графстве сходило за юмор — и, разыгранное с чуть ли не ирландской печалью, сошло за него очень даже неплохо.

— К слову о том, — продолжала она, — что наша страна катится псу под хвост, как мой муж. (Вы нигде его, часом, не видели? Он один из судей, и мне не терпится поговорить с ним по душам.)

Каждое утро, просмотрев газету, он заявляет, что… ах, вы же были в Париже, правильно? С тетушкой. Тогда, конечно, вы сами видели этого знаменитого герцога де Мерша?

Она добродушно посмотрела на меня через очки.

— Я все из вас выжму, — сказала она. — Это доверенная мне обязанность. Мне приходится говорить за целое графство женщин, не имеющих собственного языка. Так расскажите о нем все. Правда ли, что это он стоит за нынешним безобразием? Из-за него ли тот человек покончил с собой? Говорят, что да. Он же *был* замешан в заговоре роялистов, правда? И все, чьи головы в последнее время посыпались, имели связи с ним, верно?

— Я… я и правда не знаю, — ответил я. — Раз уж вы так говорите…

— О, заверяю вас, я вполне благонадежна, — сказала она. — У Черчилля — а я знаю, что вы его друг, — нет сторонницы горячее, и я была бы только рада опровергнуть слухи. Но поди попробуй. Я из кожи вон лезу, общаюсь с самыми возмутительными людьми, отрицаю саму мысль о причастности мистера Черчилля. Все же понимают, что это невозможно, но что тут можно

поделать? Я повторяла вновь и вновь — и женам бакалейщиков, и даже самим бакалейщикам, раз уж на то пошло, — что мистер Черчилль — истинный государственный деятель, и раз уж он требует строить железную дорогу этого негодяя, то это в интересах страны. Я им говорю…

Она замолчала, чтобы перевести дыхание, и затем продолжила:

— Буквально этим утром я общалась с человеком из этого класса, довольно интеллигентным и приятным; я ему втолковывала: «Как же вы не поймете, дорогой мистер Тулл, что это вопрос международной политики. Если великий герцог не получит деньги на свою железную дорогу, его изгонят из его — как это называется — княжества? А ничего опаснее быть не может, при текущем положении дел в том краю, и к тому же…» Он выслушал меня с полным уважением, но я видела, что ничуть его не убедила. Я попыталась вновь…

«И к тому же, — сказала я, — сам вопрос Гренландии. Гренландией должны завладеть мы, англичане… рано или поздно. Это прямо касается и вас. У вас есть сын, довольно обеспеченный; ему не по душе жизнь в графстве, вы хотите послать его за границу с небольшим капитальцем. Что ж, лучше Гренландии места не найти». Так мистер

Тулл посмотрел на меня и чуть не покачал головой, даже не скрываясь.

«Вы уж меня простите, миледи, — сказал он, — так дело не пойдет. Да, мистер Черчилль — не какой-нибудь шарлатан. Я знаю, что он с этим делом связан. Но… что ж, короче говоря, миледи, нельзя влезть в деготь и не запачкаться, или, по крайней мере, люди решат, что вы запачкались, — те, что вас не знают. Другие государства — это все очень здорово, как и великое герцогство, как и завладеть Гренландией, но вот что касается лично меня: у моего соседа Слингсби были деньжата, и ему в руки попала реклама проекта. Все выглядело замечательно — просто замечательно, — и он принес мне брошюру. Я до этого дела решил не касаться, а вот Слингсби вложился. И теперь Слингсби на пособии и его ждет работный дом, а ведь его жена по рождению почти что леди. Еще чуть-чуть, и это был бы я — да пронесло божьей милостью. Слингсби — человек хороший и был работящим всю жизнь; а теперь оказывается, что та брошюра — козни де Мерша, „авантюрные планы“, как их зовут в газете. И таких проектов де Мерш или его агенты наплодили прорву. А все ради чего? Чтоб де Мерш стал самым богатым человеком в мире и

филантропом. А что же делать Слингсби, если это филантропия? И вот приходит мистер Черчилль и, так сказать, заявляет: „Все это хорошо, но этот самый де Мерш — какой-то там великий герцог, и его надо поддержать в его королевстве, иначе у него будут неприятности с державами“. Державы — что мне державы? Или Гренландия? Когда Слингсби — человек, с которым я раскуривал по трубочке каждый вечер своей жизни, — в работном доме? И таких Слингсби — сотни по стране».

Мистер Тулл сильно разгорячился — и ведь Слингсби правда хороший человек. Весть о нем потрясла даже меня. Конечно, я знаю, что творится в моей деревне. И, действительно, таких Слингсби сотни по стране… я вам не наскучила?

Ответил я не сразу.

— Я… я и не подозревал, — сказал я. — Меня так долго не было, а там не чувствуешь… всего этого так близко.

— Вас и правда долго не было, — ответила она. — Что ж, без жертв не обойтись. — Как я понял, она имела в виду свои жертвы; немало должно навалиться, чтобы заставить жаловаться такую даму. Она склонила багровое лицо, глядя на край зонтика, которым колупала землю. Мы сидели в садовых креслах в пестрой тени огром-

ных вязов.

В воздухе разливалась музыка йоменского оркестра на другом конце ярмарки. Красная форма музыкантов мелькала в просветах между белыми платьями.

— И это еще не самое худшее, — сказала она вдруг, поднимая глаза и глядя куда-то между деревьев. — Мистер Тулл читал газеты и любезно поделился со мной мыслями. «Кто-то должен понести наказание, — сказал он. — Надо всем показать: нельзя ручкаться с вымогателями и не поплатиться. Заметьте, я не говорю, что мистер Черчилль виноват. Я его знаю, и я ему доверяю. Но в мире есть не только я один, и все люди знать его не могут. Ну и вот, в газетах пишут — или не пишут, но намекают, что по-своему еще хуже, — что он явно замешан, иначе бы не заступался за де Мерша. Говорят, этот герцог — отъявленный мерзавец, а в Гренландии — того пуще: местных черных там истребляют. Черчилль заявляет: нам нужно защитить черных. Так-то оно так, да только Слингсби тоже вроде был защищен — и не очень-то ему это помогло. Нет уж, миледи, сначала надо навести порядок у себя дома, а уже потом думать о державах да краях вроде Гренландии. Что толку от разумной политики, о которой

толкует мистер Черчилль, если никому нельзя доверить деньги и приходится жить только на свой капитал? Если ночью не можешь уснуть из-за опасений, что завтра очутишься в работном доме — как Слингсби? Первейшая обязанность людей на должности мистера Черчилля — как я это понимаю — проследить за честностью сделок. Вот что нам надо, а не эти их Гренландии. Вот что мы думаем — и вам это известно, иначе бы вы, знатная леди, не снизошли бы поговорить с таким человеком, как я. И, заметьте, я истинный патриот, всегда был и всегда буду, и если речь о голосах, то завтра же отдал бы свой за мистера Черчилля не задумываясь. Но многие — нет, и многие верят слухам».

Миледи замолчала и вздохнула всей широкой грудью.

— Что я могла ответить? — продолжила она. — Я знаю мистера Черчилля, он мне нравится, — он нравится всем, кто его знает. Я его союзница, помните; я не поддаюсь ропоту толпы; я тоже за «разумную политику», как и Черчилль. Но, как и сказал бакалейщик, «многие верят слухам». И я чуть ли не жалею, что Черчилль… Однако вы понимаете, что я имела в виду, когда сказала, что без жертв не обойтись.

— О, понимаю, — сказал я. Я начинал понимать. — А Черчилль? — спросил я после паузы. — Не видно признаков того, что он пойдет на попятную?

— А вы бы хотели? — спросила она резко. — Вы бы его заставили, если бы могли? — Она словно бросала вызов. — Я за «разумную политику», чего бы она ни стоила. Если до того дойдет, его долг — принести себя в жертву.

— Я вас поддерживаю, — ответил я, — всей душой.

Ее энтузиазм был избыточен и заразителен.

— О, он не сдастся, — начала она снова, посовещавшись с краем зонтика. — Сейчас вы его услышите. Сегодня же праздник. Если задержитесь со мной, пропустите всю остальную тяжелую артиллерию. Я выступаю напоказ — пропускаю всех, кто дает речи до Черчилля. Все трепещут; все они. На помост выйдет и мой супруг — он тоже трепещет. Такой же, как все. Втолковываю ему целыми днями, а то и ночами — чтобы переговорить его и заткнуть. Что ему общественное мнение? Он за страну, а не за город — а подобные скандалы ему неинтересны. Такие дела пусть евреи в Сити улаживают. Что ж, ночью он меня послушает-послушает и согласится, а наутро

газеты портят все мои старания. Заговаривает о своем месте в парламенте — которое для него раздобыла я. Я уже многие годы «голос графства». Что ж, скоро я буду голос без графства… Как там говорят? «Былой уклад сменяется иным»[56]. Вот я и решила дождаться, когда все перепуганные большие шишки промямлят свои речи, а потом выйду в центральный проход и выслушаю Черчилля с одобрением на лице. Сегодня от этого большого проку не будет, но были времена, когда одно это меняло весь ход выборов… Ах, вот и молодой человек Эффи. Пора.

Она встала и с видом мученицы решительно двинулась через луг навстречу молодому человеку, проходившему под ситцевым флагом на воротах.

— Все хорошо, Уиллоби, — сказала она, поравнявшись с ним. — Я нашла другого, кто пойдет со мной на заклание; можешь возвращаться к Эффи.

Загорелый и признательный молодой человек пробормотал мне благодарность.

— Какое облегчение, Грейнджер, — сказал он, — не представляю, как вы на это согласились.

---

[56] Примечания: 56
Альфред Теннисон «Смерть Артура» (пер. С. Лихачева).

У меня-то выхода нет, но вы…

— Просто он поблагороднее некоторых, — бросила через плечо его будущая теща. Она медленно плыла рядом со мной по проходу — героическая фигура матроны. — Как раз вовремя, — сказала она. — Видите позор моего супруга?

Как радостно было снова видеть Черчилля, стоявшего там растерянно, словно робкий юноша, посреди оваций. И вдруг я понял, почему любил его, этого высокого седого человека с утонченным, чуть ли не карикатурным поведением. Он привлекал самой своей живописностью — привлекал подобно какому-нибудь позабытому средневековому городу. Я переживал за него так же, как за какое-нибудь умирающее местечко на плоских равнинах; я боялся, как бы оно не утратило своей славы, своего великолепия. Он отстаивал перед собравшимися разумную политику; стоял перед людьми и говорил мягко, убедительно, без жара эмоций, безо всякого движения, не считая того, что иногда дрожали очки в его руке. Ни за что не подумал бы, что это боевая речь, если бы не трепет, пробегавший по публике. Они вспоминали о своих Слингсби; он же вопреки всему старался взывать к рациональному в них.

Поразительно было сидеть там, в окружении

живой стены людей одного типа, с одной идеей — желанием выкарабкаться; все чувствовали, что неведомая сила тащит их за край ледника, в расщелину. И хотели выкарабкаться, боролись, даже пыхтели — как может пыхтеть целая нация, — чтобы удержаться единственным способом, что они знали и видели: дергали, дергали отчаянно ту тяжелую веревку, что тащила их вперед. Черчилль стоял перед ними и повторял: «Мой путь — единственно возможный: разумная политика», — и его слова облетят всю страну, но падут лишь на глухие уши паникеров, которые не видели прока от спокойствия, даже непринужденности перед лицом опасности, которых спокойствие смущало так же, как смущает все, что тебе чуждо. По завершении речи меня позвали к небольшой дверке сбоку здания. Похоже, Черчилль уже выкинул речь из головы — в отличие от меня.

— Значит, вы все-таки пришли, — сказал он. — Это хорошо, и… Давайте отойдем отсюда… подальше. Тетя заберет нас по дороге. — Он взял меня под локоть и быстро повел по светлой широкой улице. — Мне жаль, что вам пришлось все это увидеть, но… ничего не поделать.

Я слышал, как в его голос прорвалась бесчув-

ственность — признак пошатнувшейся стойкости. Меня охватило уныние. Я словно шел бок о бок с инвалидом, который не знал о своем состоянии и не должен был узнать ни в коем случае; словно я зарекся что-либо замечать. Здесь, на виду, его перемена ударила по мне будто молот; в безжалостной честности необузданного света его седина, его дрожь, его отрешенность кольнули меня в самое сердце.

— Вы выглядите утомленным, — сказал я. — Пожалуй, лучше не говорить о работе.

Казалось, он вернулся ко мне мыслями издалека — о, из бесконечной дали за горизонтом, из-за мягких холмов этого тучного края.

— Вам нужно отдохнуть, — добавил я.

— Мне? О нет, — ответил он. — Никакого отдыха… до конца сессии парламента. Да я к этому привык.

Он бодро заговорил о «Кромвеле»; гранки вынырнули из бездны и теперь требовали внимания. Появилось неисчислимое множество мелочей, надо было готовить приложение и все сверять. Тогда все мои мысли были совсем о другом.

Вдруг я осознал, что принадлежал к этому миру, что я вернулся к нему как будто из преисподней;

что привержен я только ему. И она это понимала; она сама призывала предостеречь Черчилля. Это был мой долг: он был мне другом. Но разговор лицом к лицу был практически невозможен. Невозможно было даже переложить мысли в слова. Сами идеи казались непереводимыми, отдающими безумием. Я оказался в том самом положении, в каком пребывала она в начале наших отношений: попробуйте-ка объяснить — скажем, древнему персу — принципы устройства телеграфа. И я для этого не годился. Но в то же время должен был что-то сделать. Должен. Немыслимо жить так дальше, наедине с осознанием этой молчаливой измены. Но как я мог рассказать даже самое понятное? С каких слов начать? С печального звона струн извинения, вовсе без прелюдии — как? Я все больше осознавал, что должен поторопиться: он уже поглядывал за плечо на длинную белую дорогу в ожидании экипажа.

— Мой дорогой друг… — начал я. Должно быть, он заметил перемену в моем голосе и взглянул на меня, вдруг воздев брови. — Вы знаете, что моя сестра собирается замуж за мистера Гарнарда?

— Что вы, нет, — ответил он. — Это… я слышал… — И начал рассыпаться в добрых поже-

ланиях.

— Нет-нет, — перебил я поспешно, — не в том дело. Но мне довелось узнать, что Гарнард планирует… хочет отмежеваться от вас в публичных вопросах.

На его лице появилось выражение смятения.

— Мой дорогой друг… — начал он.

— О, не подумайте, я не пьян, — горько сказал я, — но побывал за кулисами — и был там долго. И не мог… не мог позволить этому продолжаться, ничего не сказав.

Он встал посреди дороги и посмотрел прямо на меня.

— Да-да, — произнес он, — надо сказать… Но к чему это?.. Если бы я и мог вас выслушать — я-то отправиться за кулисы не могу. Быть может, мистер Гарнард во многом от меня отличается, но — вы же понимаете?.. — Он шел медленно, но теперь снова остановился. — Лучше вовсе выкинуть это из головы. Конечно, вы не пьяны; но в таких случаях наши руки связаны…

Он говорил очень мягко, словно не желал меня оскорбить, закрывая эту дверь. Он вдруг очень постарел и поседел на глазах. В пыльной живой изгороди показалась калитка, и он в раздумьях свернул к ней. Затем обернулся ко мне.

— Я и забыл, — сказал он. — Я же хотел дождаться здесь; я немного устал.

Он прислонился к верхней перекладине и погрузился в изучение шнурка своих очков. Я подошел к нему.

— Я знал, — начал я. — Знал, что вы не прислушаетесь… к подобному. Но у меня были причины сказать. Я считал, что должен. Простите меня.

Он посмотрел с таким видом, будто и забыл о моем присутствии.

— Да-да, — сказал он. — Я отношусь с определенным… не могу подобрать слово… скажем, уважением… к вашему решению и… и мотивам… Но, понимаете, есть, к примеру, мои коллеги. Не могу же я пойти к ним… — Он потерял нить мысли.

— Сказать по правде, — ответил я во внезапном порыве искренности, — я рассказал не по политической причине, а по личной. Я рассказал, потому что мог помочь вам — лично — и потому, что хотел бы… чтобы вы поборолись. — Я воспользовался ее же словами.

Черчилль взглянул на меня и улыбнулся.

— Благодарю, — отозвался он. — Наверняка, по-вашему, я уже считай что проиграл, — добавил он с каплей мрачного юмора, что был как час

солнечного тепла в морозный день. Я не ответил. Чуть поодаль на дороге показался экипаж мисс Черчилль, искрясь на свету и поднимая облако пыли, что сливалось с шиповником живой изгороди с подветренной стороны.

— Значит, по-вашему, плохой из меня политик, — вдруг с улыбкой пришел к выводу Черчилль. — Уж лучше не говорите так моей тете.

Тем вечером я отправился с Черчиллем в город. Там меня не ждало ничего, но мне не хотелось думать. Хотелось побыть среди людей, человеческих толп, хотелось забыться, ошеломиться, не слышать ничего за гулом жизни, ослепиться огнями.

С нами в экипаже Черчилля ехали и другие: один местный депутат и один генерал оказались из моего района. Они полнились финансовыми скандалами и попеременно потчевали меня своими мнениями. Я заверил, что ничегошеньки не знаю, но тем больше они вытягивали из меня ответы.

— Все потому, что не надо складывать все яйца в одну корзину, — подытожил местный депутат. — У старомодных мелких предприятий хватает своих недостатков, но все-таки эти гигантские трасты… верно я говорю, генерал?

— О, совершенно с вами согласен, — рявкнул генерал. — И в то же время…

Так их голоса гудели, неразличимо сливаясь, даже успокаивая. Я словно слушал молотилку: одна протяженная нота, другая, и так далее, и так далее. Все видимое помутилось, слилось воедино.

Глава шестнадцатая

В Лондон мы добрались под вечер, в сумерках летнего дня. Спешка и суета приезда изменили настроение и направление моих мыслей. Задумчиво стоя перед дверью вагона, я почувствовал на плече дружескую руку.

— Займитесь этим, — произнес голос Черчилля. — Передайте все моим редакторам.

— Завтра же иду в музей, — ответил я.

От меня требовалось найти выдержки для «Жизни Кромвеля» — цитаты из брошюр, которых не оказалось под рукой. Он кивнул, быстро направился к своему брогаму, открыл дверцу и сел.

Я хорошо запомнил тот последний раз, когда его видел, — как склоняется, чтобы войти, долговязая и худощавая фигура, печально одинокая, печально отягощенная; хорошо помню блики на стеклах кареты — отражение мутного сияния голого лондонского вокзала; как кучер натягивал поводья; как наружу показалась худая ладонь — белый проблеск, — чтобы повернуть сверкающую ручку. Одно это движение говорило о

человеке нечто сокровенное: робость ладони, как она мягко, неубедительно — чуть ли не философски — взялась за ручку. Удовольствие от дружеского веса на моем плече сохранялось еще несколько минут одиночества; этот вес словно снял с моих плеч другой. Ведь я боялся, что Черчилль охладел ко мне из-за моего неуклюжего откровения. Он ничего не сказал, его поведение ничего не сказало — но я боялся. В вагоне он сидел замкнутый, уйдя с головой в бумаги. Но одного прикосновения к моему плечу хватило, чтобы успокоить меня, хоть и не дать свободу для ответной импровизации. Оно хотя бы показало, что Черчилль не желает мне зла — иначе бы он ко мне и пальцем не прикоснулся. Возможно, он даже испытывал благодарность — не за услугу, а за само бесполезное доброжелательство. Как ни толкуй этот жест, а то был последний раз, когда он заговорил со мной; последний раз, когда дотронулся. И я любил его всем сердцем. После этого все понеслось стремглав.

В сравнительно бодром настроении я прошел несколько ярдов до клуба, планируя поужинать. Сбегая от одиночества, я подсел к лысому англо-индийцу со вставной челюстью, который всегда доводил меня своим занудством до припадков

нервного возбуждения. Это был мой невероятно далекий дядя. Я его, как правило, избегал, а сегодня сам сел с ним ужинать. Это был человек нескончаемых и невероятно перевранных воспоминаний. На его память повлияло долгое проживание на болоте, где выращивали индиго, лишь очень редко прерывавшееся визитами в Англию.

Он рассказывал о моем несчастном отце и о моей несчастной дорогой матушке, о мистере Бромптонсе и о миссис Кенвардс, которые мелькали в их списке гостей в замшелых шестидесятых.

— Тогда твой несчастный дорогой отец был на грани разорения, — сказал дядя, — очень страдал. Мне тоже пришлось непросто: до всех моих плантаций добрался червь, поэтому я не мог ничем помочь бедолаге. Впрочем, Кенни Грейнджер обошелся с ним прескверно. Он-то мог бы что-то сделать — у Кенни было влияние.

Кенни был мой дядя, глава семьи, муж моей тети.

— Они не ладили, — пояснил я.

— О, знаю, знаю, — пробормотал старик. — И все-таки для единственного брата… Однако ты смог неплохо устроиться. Сделал уже целое состояние, а? Мне тут намедни говорили — уже не

помню кто, — что ты далеко пойдешь, дальше многих.

— Очень любезно со стороны этого кого-то, — ответил я.

— А теперь я тут читаю, — продолжил он, показывая утреннюю газету, за чтением которой — и за жареным лососем — я застал его, — теперь я читаю, что твоя сестра выходит за министра. Ах! — он покачал несчастной, бестолковой головой. — А я помню вас обоих такими крошками.

— Как? — спросил я. — Она тогда и родиться еще не могла.

— Помню-помню, — возразил он, — когда я наезжал в семьдесят восьмом. Она сама подтвердила, что я привез ей в подарок куколку из слоновой кости, — она не забыла.

— Ты с ней виделся? — спросил я.

— О, навещал две-три недели назад — нет, уже два-три месяца. Вылитая копия твоей бедной дорогой матушки, — добавил он, — и в этом возрасте; я сказал об этом твоей тете, но она, конечно, не вспомнила. Она вышла замуж уже после ссоры.

От внезапно нахлынувшего беспокойства я вскочил, бросив остывшую трапезу. С возвращением в высший свет, с возвращением ко мне

силы воли вернулось и отчаяние. Передо мной стояла задача — нет, необходимость: завоевать ее. Стоило утратить с ней связь, как она в моем восприятии съежилась, стала не столько идеей, сколько человеком, а человека можно переубедить. Было два способа. Либо ухаживать, как ухаживают за запретным возлюбленным; убедить ее сбежать, бросить все, оставить все; либо обратиться к ней как достойный жених, с этчингемскими акрами и будущими возможностями. Этот нелепый бормочущий старик испортил второй вариант. Рано или поздно приходится вспомнить, что дворянин не может без скандала жениться на собственной самозваной сестре. А я жаждал ее всей душой.

Она подействовала на меня как невероятный возбуждающий препарат; вдали от нее я чувствовал себя пьяницей без бутылки, любителем опиума без наркотика.

У меня еще было дело в доме тетушки — доставить сообщение, справиться о здоровье, и к тому же я хотел повидаться с сестрой, что-нибудь у нее разузнать, разведать, спросить, что она для меня планирует далее. Теперь дом изменился, засиял, свидетельствуя о росте благосостояния семьи. Но для меня он был пуст, и большая дверь

глухо закрылась за моей спиной. Сестры там не оказалось. Меня снедала мысль, что ее нет, что она с кем-то разговаривает, просто существует без меня. Я угрюмо перешел дорогу к площади. Свернув за угол, обнаружил, как моя голова оборачивается сама собой: я смотрел через плечо на фасад, гадая, какое окно принадлежит ей.

— Как томящийся от любви школьник — как чертов школьник, — проворчал я себе под нос. Ко мне возвращалось чувство юмора. Я принялся искать себе компанию.

Лондон оказался пустыней еще более одинокой, чем можно было себе представить. В те яркие летние вечера улицы бурлили, жили, гудели от шороха шагов, щебета голосов, смеха.

Ярда не пройти, шагу не ступить без того, чтобы не отдавить кому-то ногу; ослепляло постоянное мелькание лиц. Как стоять посреди пшеничного поля, где колосья на уровне глаз сливаются в сплошную массу. Я находился в одиночестве, порожденном невероятным презрением ко всем этим лицам, всем этим самодовольным лицам; возвышался над ними интеллектуально; возвышался вплоть до разреженных эмпиреев. А они внизу наслаждались жизнью. Я лучше понимал жизнь; знал, как жить. Вот что поразило

меня тогда, на Оксфорд-стрит. Что всюду царило добродушие, полное небрежение к мелким неудобствам, неудобствам толпы, бесславному растворению в толпе. В мягком свете, в прохладе летнего вечера разливалась поэзия — и они умели ею наслаждаться. Я свернул в древний двор рядом с Бедфорд-роу.

— Богом клянусь, — сказал я, — я буду наслаждаться…

И наслаждался. Вдруг на меня нахлынула поэзия этих старых заброшенных домов — все самые мелкие и обыденные мысли; все обыденные ассоциации с Лондоном короля Георга. На миг я покончил с поиском смыслов.

Я разыскивал Ли — его не оказалось дома. Тот квартал был испещрен домами знакомых — бывших знакомых, замечательных молодых людей, которые писали для газет, служили младшими редакторами в газетах, рисовали плакаты, всегда оставались теми же. Забываешь их на год-другой, встречаешь вновь — а они всё те же: пишут для тех же газет, служат младшими редакторами в тех же газетах, рисуют те же плакаты. Меня тянуло узнать их заново в уединении их очага — всё с теми же замечательными женами, переписывающими всё те же рукописи набело; всё с тем же

весельем всё того же безвкусного виски — бурого, бледного или подозрительного на вид, в тяжелых, квадратных, граненых декантерах, — и всё с тем же безвкусным виргинским табаком на все том же уровне в жестянке.

Мне понравилась эта предсказуемость, их прекрасные ограниченные взгляды на жизнь и литературу. Я хотел увидеть это снова, услышать, как они наполняют неизменно отведенные им колонки ежедневных, еженедельных, ежемесячных журналов. Хотелось вновь вдохнуть уютную атмосферу, где больше нет ни страхов, ни надежд. Но увы!..

Я обзванивал дверь за дверью того мрачного центрального района Лондона. Сами знаете, как бывает. Тянешь за ручку под табличкой с именем человека, что ищешь, — тянешь три, а то и четыре раза, все тщетно. Звонишь домовладелице; звук колокольчика отдается в глубине, все слабеет и слабеет, постепенно тонет в гулком подземелье. Через целую вечность в щелку приоткрытой двери выглянет голова — голова безнадежного анахронизма, вдовы ранневикторианских достоинств или сироты невероятного возраста. Спрашиваешь Того-То — его нет; Уильямса — он ожидает прибавления в семье и уехал за город

с женой. А Уоринг? О, пропал неведомо куда, а Джонсон из дома номер 44 нынче заезжает в город только по вторникам. Я истощил в той части Блумсбери все возможности, все разнообразие домовладелиц. Остальной Лондон делился на полосы, зоны. Отсюда до Кенсингтона — люди, которых нельзя навещать после ужина, а те, что живут в Чизвике и дальше, — гиперборейцы со строго ограниченным временем досуга. В десять часов я задумчиво застыл на пороге — на пороге Джонсона. Мне нужно было повидать хоть кого-то, поговорить хоть с кем-то, прежде чем лечь спать в безрадостных клубных комнатах. Да, у меня получилось бы найти в курительной знатока политики, но это крайняя мера, отчаянная и бесславная pis aller[57].

Был, конечно, Фокс, я мог найти его в редакции. Но прежде чем безмятежно говорить о встрече с этой особой, мне нужно было сменить настроение. Я-то готовился к разговору с этически безупречными молодыми людьми, а Фокс с этической точки зрения далеко не безупречен, к тому же среднего возраста, краснолицый, глумливый — словом, гениальный журналист. Я

---

[57] Примечания: 57
Крайняя мера.

внес в свой настрой необходимые изменения и разыскал его.

Зал Ватто теперь оживился с появлением алого плюшевого дивана роскошного вида. Рядом стояла пара электрических торшеров. Ядовито-зеленый цвет абажуров расцвечивал перегородки кабинок, разбрасывал невозможные тени. Вокруг дивана на стульях высились аккуратно сложенные стопки бумаги; на полу валялось еще больше, словно осенняя листва, о которой складывают песни. На диване лежал сам Фокс, закутанный в шетландскую шаль; качественная шаль казалась единственной сделанной на совесть среди этой былой роскоши. Фокс был краснолиц как никогда, но черты его лица заметно заострились, а под глазами пролегли глубокие морщины, подчеркнутые тенями от лампы, при свете которой он читал. Я вошел без доклада и был встречен безразличным взглядом, который сменился на нечто наподобие удовольствия, когда Фокс распознал мое лицо в неверном свете.

— Здравствуй, старая деревенщина, — сказал он с натужным весельем. — Я необычайно рад тебя видеть. — Он резко прервался, сделав судорожный вдох. — Чуть ли не кончаюсь, — продолжил он. — Все та же беда: ишиас. Свалил

меня, как только я сюда добрался днем; отправил посыльного купить мне диван — и с тех пор с него не сползаю. Ну, а что привело тебя? Не отвечай, и так знаю. Я должен говорить, пока не пройдет судорога, а то буду кричать и испорчу себе послевкусие от передовицы Соуна. Что ж, раз ты пришел, задержишься и поможешь мне уложить «Час» в постельку, да? А потом уложишь в постельку и меня.

Он продолжал с трудом говорить — гримасничая, подчеркивая шутки довольно лихорадочным смехом. Наконец он замолк с едва скрытым «Ах!» и долгим вдохом.

— Прошло, — сказал он. — Дай-ка каплю бренди, будь другом.

Я налил ему стаканчик. Потом объяснил, что больше не могу работать в «Часе», что я не в ладах с де Мершем.

— Отказываешься от денег из-за него? — спросил он со смехом.

Я объяснил чуть больше: в деле замешана женщина.

— Ах *вот* в чем дело, — сказал Фокс. — Он дурак… Но в любом случае в этом представлении Мерш особой роли не играет. Он ни гроша не вложил в «Час», так что можешь засунуть свою

гордость обратно в карман или где ты ее держишь. Все, достаточно. Не разбавляй. Так вот, он мелкая сошка.

— Но, — сказал я, — все говорят… ты сам говорил…

— Конечно, — ответил он. — Но ты же не думаешь, что *я* стал бы подчиняться человеку такого калибра. Да?

Он серьезно посмотрел на меня. Я вспомнил, как помнил когда-то раньше, что Фокс — это личность, мощь. До сих пор я ни разу не понимал, как сильно, фундаментально он отличается от всех, кого я знаю. Он был так удивителен, что с тем же успехом мог принадлежать к другой расе. Фокс смотрел на меня с таким видом, словно ему все равно, воздаю ли я ему должное, однако его удивляло, что я до сих пор не замечал его отличия. Он уронил растрепанную голову обратно на плюшевые подушки.

— Можешь хоть гнать его пинками отсюда до Гренландии, — сказал он. — Я о нем не запла́чу. Меня устраивает, что он в беде, а пинок, может, только восстановит его равновесие. Он у меня уже в печенках сидит, о чем я ему и сказал. И я знал, что без женщины не обошлось. Но ты не волнуйся: в «Часе» главный я.

— Раз так… — сказал я.

— О, еще как.

Я помог ему с газетой; разгрузил от работы. Это тоже было частью моего возвращения к жизни, возвращения в ржавые доспехи, к тому же я хотел провести ночь без раздумий. И для меня это было знакомое дело. За год нашей совместной работы Фокса уже сваливали такие припадки, и я часто помогал ему скоротать ночь; пару раз — до трех ночей кряду. Однажды я самостоятельно распоряжался газетой целых пять ночей. Но теперь, в эти странные два-три часа, Фокс открылся мне в новом свете. Я будто встретил его впервые. В течение ночи припадки становились все пагубней. Он стонал и метался, и говорил — о, что он только не говорил от боли, которая расстраивала нервы и все остальное. На пике он пел псалмы, а когда боль сходила на нет, возвращался к удивительной ясности мысли. Как я уже сказал, я увидел Фокса в новом свете. Словно все время нашего знакомства он играл роль, и только теперь, в горячке, в безумии, до которого он допивался, всплывали осколки его истинной личности. В конце концов мне стало чуть ли не страшно находиться с ним наедине среди ночи, захотелось как можно скорее вернуться в свою

постель среди унылой мраморной мебели клуба.

Глава семнадцатая

В полдень следующего дня я заглянул к Фоксу в его квартиру. Он вытянулся на диване — очевидно, я опять должен был перенять те его обязанности, что в принципе перенимаемы. Этой просьбой он меня и встретил.

— Не забивай газету своими желторотыми гениями, — дружелюбно говорил он, — и не перетруждайся. Делать там сейчас нечего, но кто-то же должен приструнить эту мелкую бестию Эванса в мое отсутствие. Будь его воля, он бы вовсе меня вытеснил; думает, и без меня прекрасно справится.

Я на свой лад выразил презрение к Эвансу и собрался уходить.

— А, и еще… — окликнул меня Фокс. Я оглянулся. — Сегодня должна прийти почта из Гренландии. Если Кэллан сумел дать волю перу, то пусти его писанину, будь другом. Это материал на передовицу, сам понимаешь.

— Полагаю, сперва на него следует взглянуть Соуну? — уточнил я.

— Ах да, — ответил он, — но вели ему строго

держаться текста старины Кэла, прямо вбей ему это в голову. Если Соун напьется и добавит отсебятины, выйдет конфуз. Люди ждут неразбавленного Кэла. Вот что: своди-ка Соуна на обед, а? Приглядывай, сколько он пьет, да растолкуй хорошенько, чтобы он строго следовал Кэлу.

— Значит, Соун в своем репертуаре? — спросил я.

— О, — ответил Фокс, — он все сделает как надо, если донесешь до него одну простую мысль.

Тут его скрутил долгий и острый приступ. Я позвал слугу и оставил Фокса оправляться.

В редакции «Часа» меня встретили гранки рукописи Кэллана. Вручил мне их Эванс, человек за перегородкой.

— Я решил, это обязательно пойдет в номер, вот все и подготовил, — сказал он.

— О, конечно пойдет, — ответил я. — Но сначала пойдет к Соуну.

— Соуна еще нет.

Я расслышал подспудное ехидное удовольствие в его голосе. Эванс так и ждал нашего фиаско.

— Ну, что ж, — непринужденно ответил я, — времени еще вдоволь. Оставьте место в запасе. А я пошлю кого-нибудь за Соуном.

Я почувствовал, что это испытание для моей

смекалки. Меня не особенно заботила газета, но не хотелось, чтобы меня обставил Эванс — этот бешеный валлиец в очередном припадке упрямства. Я знал, что будет; знал, что Эванс разыграет невообразимую глупость — глупость непрошибаемую, присущую всем представителям его примитивного рода. Меня ждал день треволнений. И в моих обстоятельствах этому оставалось только радоваться — так я отвлекался от своих неприятностей. Попробуй предаться мрачным думам, когда правишь норовистой лошадью.

Эванс знал, что я достаточно несведущ в технических деталях; их он, мрачно торжествуя, весь день от меня скрывал.

Иногда я порывался сам прочитать статью Кэллана. Но это было нечитаемо. Она открывалась описанием убогости быта гренландцев и безвкусными пассажами, полными местного колорита.

Я и так знал, что будет дальше. Это бытописание домершевской Гренландии в стиле Кэллана — уполномоченного инспектора, — призванное продемонстрировать славу и пользу возрождения. Я отлично знал, что будет, и физически не мог продраться дальше первых десяти строк.

К тому же все шло наперекосяк. У печатников случилась очередная вспышка дурацких вопро-

сов. Их посыльные шли к Эвансу, Эванс слал их за сосновую перегородку ко мне. «Мистер Джексон желает знать…»

Четвертый посыльный из отправленных к Соуну вернулся с вестями, что Соун прибудет в полдесятого. Я велел найти самый крепкий кофе, что только варят в городе. Прибыл Соун. Болен, говорил он, ах как болен. Он пожелал укрепить здоровье шампанским. Я предложил кофе.

Соун был сыном ирландского пэра. Он обладал величественной внешностью, хотя и слегка расплывшейся, а также остатками дворянских манер. Не нос, а чудо классической скульптуры, хотя течение времени сделало его красным и пятнистым — с результатом не возмутительным, но ироничным; волосы поседели, глаза налились кровью, тяжелые усы растрепались. Он вызывал уважение, которое испытываешь к тому, кто уже пожил и ни о чем не переживает. У Соуна был причудливый непостоянный гений, стоивший того, чтобы Фокс терпел его провалы и снобское нахальство.

Я принес кофе и показал на вчерашний диван.

— Черт подери, — возразил он, — говорю же, я болен; мне нужно…

— Вот именно! — прервал я. — Вам нужен от-

дых, старина. Вот статья Кэла. Мы хотим нечто особенное. Если не справитесь вы, отдам Дженкинсу.

— Чертов Дженкинс, — сказал он. — Я справлюсь.

— Но знайте, — сказал я, — пишите строго согласно доводам Кэллана. Не добавляйте сведения из внешних источников. И кроите как хотите — но в духе Кэллана.

Он согласно буркнул. Я оставил его валяться на диване, попивая кофе. Свет отладил так же, как включал себе предыдущей ночью Фокс. Отправляясь на ужин и видя, как он подносит страницы к осоловелым глазкам и философски проклинает природу всего сущего, я был вполне в нем уверен.

Когда я вернулся, Соун произнес с дивана что-то неразборчивое — что-то о Кэллане и его статье.

— О, бога ради, — ответил я, — не беспокойте меня. Налейте еще кофе и держитесь посыла Кэла. Так велел Фокс. Я ни за что не отвечаю.

— Проклятый чудила, — пробормотал Соун.

Начал что-то корябать карандашом. Судя по его интонации, он подходил к той самой стадии, когда можно было ожидать чего-то блестящего — истинной передовицы.

Закончил он очень поздно. Дописав последнее слово, поднял глаза.

— Готово, — сказал он. — Но… что за чертовщина? Ощущение, будто у налаженных часов лопнула пружина.

Я позвонил в колокольчик, чтобы кто-нибудь отнес копию вниз.

— Я ваших метафор не понимаю, Соун.

— Но эта подходит как нельзя кстати, — настаивал он, — если считать пружиной меня. Я тут натягиваюсь все туже и туже, чтобы расхвалить старину де Мерша с его Гренландией, — в последнее время натянут до упора, не шучу. И ни с того ни с сего…

Пришел мальчик и унес копию.

— …ни с того ни с сего, — продолжил Соун, — что-то сдает — и вжух: стрелки летят вспять, а старина де Мерш с Гренландией шлепается вниз, как груз маятника.

От грохота станков сотрясало оконные рамы. Соун встал и подошел к буфету.

— И ведь работал всухую, — сказал он. — Но сравнение хорошее, разве нет?

Я быстро сделал шаг к звонку у стола. Гранки Кэллана, по которым работал Соун, лежали смятым белым флагом на коричневой столешнице

деревянного стола Фокса. Я направился к ним. Протянув руку, вдруг почувствовал, как в разуме скользнул ответ — не громче, чем прилет пули: ударил с той же силой и засел с той же болью. Я вспомнил утро в Париже, когда она рассказывала, как просила одного из помощников де Мерша предать хозяина и не скрывать от Кэллана истинные ужасы Système Groënlandais — забитых, замученных, несчастных жителей, голод, порок, болезни и преступления. Перед моими глазами вдруг возникла узкая комната с высоким потолком в доме моей тети; как открылась дверь и вошла она с тем горестным губернатором — человеком, который покажет Кэллану все, — и его скрежещущее «C'est entendu…»[58]

Я отчетливо вспомнил сцену; ее слова; ее выражение лица; мое полное неверие. Вспомнил я и то, что это не спасло меня от возмущения несгибаемым желанием унаследовать землю коварством. Я не подпускал к себе саму эту идею — и вот, пожалуйста: теперь она передо мной во всех своих значениях и последствиях. Кэллан и правда увидел то, что ему не предназначалось видеть, и написал правду. Сама статья — пустяк,

---

[58] Примечания: 58
Все понятно…

но ведь отправили его туда со всеми фанфарами сторонники де Мерша. То есть он — человек, которому можно *верить*. По сути, сами сторонники де Мерша чуть ли не говорили: «Если нас осудит он, мы воистину обречены». И теперь, когда вердикт в самом деле был вынесен, казалось, он означал крах для всех, кого я знал, с кем работал, кого видел, о ком слышал в последний год своей жизни. Крах для Фокса, Черчилля, министров и тех, кто беседовал в вагонах, для лавочников и правительства; угроза институтам, которые связывали нас с прошлым и гарантировали будущее. Безопасность всего, что мы уважали и во что верили, зависела от разоблачения отвратительной аферы — и это разоблачение находилось у меня в руках. В тот вечер вся власть печати подчинялась моей прихоти. Народ ждал вердикта. Последним козырем де Мерша оставалась его филантропия — его образцовое государство и счастливые коренные жители.

Пол под ногами дрожал от гула станков, все здание вибрировало, как в землетрясение. Я был наедине со своим знанием. Знала ли она? Она ли вложила эту власть в мои руки? Но я был один — и я был свободен.

Я взял гранки и принялся читать, наклоняя

страницу так, чтобы на нее падал свет. Это было исступленное осуждение, но под неумелой стилистикой читались искреннее возмущение и боль. Здесь были все отвратительные подробности жестокости к несчастным, беспомощным и беззащитным; голая алчность и своекорыстие; но еще отвратительнее было увидеть без маски ложь, что крылась за словами, которые веками вели людей к благородным поступкам, самопожертвованию, героизму. Ужасало внезапное осознание, что все традиционные идеалы чести, славы, совести служили колоссальной и омерзительной афере. Афере, что расползлась незаметно, проникла в самое сердце убеждений и заветов, на которые мы полагаемся в своем пути между прошлым и будущим. Старому миропорядку предстояло жить или умереть во лжи. Я увидел все это с силой и ясностью откровения; увидел, словно проспал целый год работы и мечтаний, а очнувшись, узрел истину. Увидел все; увидел цель моей сестры. Что мне было делать?

Я сам не заметил, как меня охватило волнение. Пальцы, державшие стопку страниц, сжались и смяли ее.

— Толстая стопочка, — сказал Соун. Он смотрел на меня, стоя у открытого буфета. — Да и я

подчеркнул пожирнее… завтра народ выйдет на улицы.

Он сунулся в буфет, и его голос зазвучал глухо. Он извлек большую бутылку с золотой фольгой на горлышке.

— Завтра лодка перевернется, — сказал он громко. — Верно?

Его голос подействовал на меня, как рука, встряхнувшая пробирку с дремлющими химикатами, что обрели прозрачность от легкого щелчка по стеклу. Вдруг все стало предельно ясно. Я понял, что все хитроумные интриги зависели от того, что в следующие несколько минут сделаю я. Теперь только мне решать, протянуть ли руку к кнопке на стене, дать ли всему миру — «добросовестности», как сказала она, — разбиться вдребезги. Станки по-прежнему гудели, напоминая дрожь желавших вырваться чувств. Я мог остановить их — а мог не останавливать. Только мне решать.

Все были в моих руках; все ничего не значили. Выпусти я эту статью в мир — и им конец, и начнется новая эпоха.

Соун взял пару бокалов на высоких ножках. Они звякнули, пока он искал в буфете что-то еще.

— Ну, что скажете? — спросил он. — *Забористо*,

верно? Тряхнет некоторых наших сторонников, а? Билль примут завтра… но, пожалуй, не с этой статьей.

Ему срочно требовался штопор.

Но в том-то и дело: это «тряхнет некоторых наших сторонников» и даст Гарнарду уважительный повод. Черчилль, знал я, будет держаться своей линии — разумной политики. Но сколько из его сторонников теперь отвернутся — и Гарнард, разумеется, поведет их к собственной победе.

Это приговор. Кэллан отправился как инспектор — и с немалым шумом. И вот его доклад — этот вопль. Если дать ему разнестись над всеми крышами — если я это допущу, — прости-прощай, разумная политика и Черчилль. И неважно, что сам Черчилль и *был* разумной политикой — в стране не найдется ни одного разумного человека, кто это разглядит. Народ требовал чистоту во власти — и теперь получит неоспоримое уголовное обвинение де Мерша. И герцога будут, фигурально выражаясь, линчевать, наплевав на всякую политику.

Этого хотела она, а я хотел во всем мире только ее. Если помешать ей — она… что она сделает? Я посмотрел на Соуна.

— Что случится, если я остановлю станки? — спросил я.

Соун вкручивал штопор в фольгу бутылки.

Это было смертельно; я не видел ничего в белом свете, кроме нее. А что еще было? Вино? Свет солнца? Ветер на холме? Честь! Боже мой, да что мне честь, если я видел только ее? Дадут ли мне честь, вино, солнце или ветер то, что могла дать она? К черту их.

— Что случится, если… что? — проворчал Соун. — Проклятая пробка.

— О, просто думал вслух, — ответил я.

Фольга поддалась, и он начал вытягивать пробку. Остановить ли статью ради… например, доверявшего мне Фокса? Что ж, к черту и Фокса. И Черчилля, и все, за что стоит Черчилль; добросовестность; величие и дух прошлого, где брали начало моя совесть и совесть миллионов, спящих вокруг меня, — и ту женщину на птичьей выставке со всеми ее фермерами и торговцами. К черту и их.

Соун сунул мне в руку бокал. Он словно явился из вечности, эта забытая фигура. Я сел за стол напротив него.

— Чертовски хорошая мысль, — заявил он вдруг. — Остановить проклятые станки и надуть

старину Фокса. Он задумал какую-то дьявольщину. И, богом клянусь, хотелось бы всадить ему нож в спину. Богом клянусь. А потом бросить все да уехать на Сандвичевы острова. Опротивела вся эта жизнь, собачья жизнь… Впрочем, если знаешь, что все рухнет, можно знатно нагреть руки. Но только редко когда видишь изнанку вещей.

Я глупо посмотрел на него; увидел красные глаза и растрепанные седые волосы. Я спросил себя, кто это. «Il s'agissait de?..»[59] Я словно вернулся в Париж, не мог вспомнить, о чем думал. Я выпил бокал, и он налил мне еще. Я выпил и это.

Ах да — даже тогда для меня ничего не будет решено, хоть я и знал, что Фокс и прочие не играли роли… Мне оставалось доказать ей, что я не просто послушный скот, пешка в игре. Я в самом сердце событий. И, в конце концов, меня сюда поместил случай — слепое совпадение всех тех мелочей, что ведут к неизбежному, к будущему. Если же теперь я помешаю ей, она… что она сделает? Ей придется начинать все заново. Она не захочет мстить — она не мстительна. Но вдруг она больше не захочет на меня взглянуть?

Все сводилось к простой политике. Или же

---

[59] Примечания: 59
Речь шла о?..

страсти?

Лязг колес и стук копыт тяжелых ломовых лошадей по граниту, разнесшийся по колодцу внутреннего двора, ударил молотами по моим ушам. Соун уже прикончил бутылку и шел к буфету. Он задержался у окна и выглянул вниз.

— Сильные черти эти грузчики, — сказал он. — Я бы такой вес бумаги не поднял — только не с моей пакостью на них, не говоря уже о кэлла-новской. Казалось бы, этого никакие телеги не выдержат.

Я понял, что они грузят телеги для доставки выпусков в киоски. Еще было время их остановить. Я встал и очень быстро подошел к окну. Я собирался крикнуть им, чтобы прекратили погрузку. Распахнул створки.

* * *

Конечно, я их не остановил. Решение принес порыв свежего ветра. Причем до нелепости простое. Если я ей помешаю, она меня зауважает. Но ее дело жизни — унаследовать землю, и вопреки всему уважению — а может, как раз из-за него — она будет считать меня силой, действующей ей во вред… «Болезнь для меня», как сказала она.

— А что мне нужно, — сказал я, — так это по-

казать… что она была у меня в руках — но я преданно сотрудничал.

Это было так просто, что я возликовал; возликовал, хмельной от вина; возликовал, глядя в тот мрачный двор, где в лучах большой дуговой лампы плясали переносные фонари поменьше. Разбросанные по всем окнам позолоченные буквы пестрели названиями неисчислимых предприятий Фокса. Что ж, власть принадлежала ему… но ликовал я. Я преданно сотрудничал с силами будущего, пусть сам и не хотел наследовать землю. Хотел только приблизить это будущее. Большая телега, подняв волну грохота, — что понеслась вверх по колодцу, колотясь о стены, — пришла в движение. Черная крыша, проходя под моими ногами в арку, колыхалась, словно плечи слона. И вот она пропала из виду — она тоже сотрудничала; через несколько часов поднимут кулаки люди на другом конце страны — другом конце мира. О, она сотрудничала преданно.

Я закрыл окно. Соун держал в одной руке шампанское. В другой — фоксовский нож для бумаги: металлический, клинок из Японии или с Декана. Он обводил им горлышко бутылки.

— Я уж думал, вы сейчас кинетесь наружу, — сказал он. — Я бы и не мешал. Все опротивело…

опротивело. Сами поглядите… сегодня… этот адский трюк Фокса… И я тоже поучаствовал… Зачем?.. Надо бы поесть. — Соун сделал паузу. — …И выпить, — прибавил он. — Но этот пакостный трюк принесет голод множеству глупцов. Многие лишатся доброго имени… Ну и плевать, я убираюсь к черту… Кстати говоря: отчего он это затеял? Деньги? Хандра?.. Вам ли не знать. Вы наверняка тоже в деле. И точно не из-за голода. Удивительно, на что только не пойдут люди ради своих любимых грешков… А? — Он пошатнулся. — Вы не пьете — какой ваш любимый грешок?

Он с вызовом посмотрел прямо на меня, сжимая горлышко пустой бутылки. Его хмельной тяжелый взгляд словно принуждал к соучастию в его убогой сделке с жизнью, вознаграждал убогой свободой. Мне казалось, он ничтожен и гнусен; но отчего-то на миг он предстал зловещим.

— Вам меня не напугать, — сказал я в ответ тому странному страху, что он в меня вселил. — Теперь меня ничто не напугает.

Ощущение полной неуязвимости стало первым послевкусием моей победы. Я покончил со страхом. Этот несчастный черт как будто стоял где-то бесконечно далеко. Он потерян — но лишь один из потерянных; один из тех, кого я уже видел

гибнущим в том бурном потоке из шлюза, что раскрылся по мановению моей руки. Что ж, он сгинет в хорошей компании; его унесет вместе с прошлым, что они знали, и будущим, что они ждали. Но он был гнусен.

— Я покончил с вами, — сказал я.

— А? Что?.. А кто хотел пугать?.. Я спрашивал о вашем любимом грешке… Не скажете? А то можете сказать как есть, ничего не опасаясь, — я убираюсь к черту… Нет… Хотите, скажу свой?.. Времени нет… я убираюсь к черту… Спросите полицейского… сойдет и подметальщик перекрестков… Я убираюсь.

— Вы уберетесь. Вам придется, — сказал я.

— Что… Гоните меня?.. Выбрасываете незаменимого Соуна за борт, как какой-то выжатый лимон?.. А вы готовы?.. А что скажет Фокс?.. А? Но вы не можете, приятель; не вы. Я вам так скажу… так скажу… не сможете… С вами тут… опротивело… я убираюсь… на острова — Острова блаженных[60]… Стану… нет, не ангелом, как Фокс… а стану… о, да хоть пляжным бездельником. Валяться на белом песочке, под солнцем… голубые небеса и пальмы — а?.. Корабль «Вайка-

[60] Примечания: 60

Острова блаженных — мифическая область на краю света; понятие, повлиявшее на развитие утопии в Европе.

то». Я убираюсь… Давайте и вы со мной… потеха… Гони́те сам себя отсюда. Теплый песочек, задумайтесь, теплый… не хотите? — спросил он с уязвленным видом. — Что ж, а я убираюсь. Проводите до кеба, старина, вы все-таки порядочный человек… не из этих мерзавцев, что предадут лучшего друга… за грош… или за бабу. Больше вы меня не увидите…

Я не верил, что он доберется до южных морей, но все-таки спустился с ним и проводил взглядом его, бредущего по улице, пошатывающегося под бледным рассветом. Содрогнулся я, наверное, от той ночной зябкости. Я бесконечно верил в будущее: теперь между мной и ней ничего не стояло. Меня сопровождало эхо моих шагов по каменным плитам мостовой, наполняя всю пустую землю звуком моего продвижения.

Глава восемнадцатая

До клуба и своей комнаты я добрался без приключений. На меня снизошла странная безмятежность. Я отдыхал после сражения, которое окончилось победой, чей смысл слишком велик, чтобы осознавать его и наслаждаться им одновременно. Я знал только, что победа велика, потому что больше делать было нечего. Все во мне отправилось на покой — даже совесть, даже память; на покой, подобный смерти. Я возвысился над ними, и мои мысли двигались счастливо, словно в новом свете, как согретые солнцем люди двигаются над могилами забытых покойников. Я чувствовал себя в начале долгого отпуска — неопределенного периода безделья с обещанием великого блаженства в конце, слишком великого, чтобы уложить в слова, слишком великого, чтобы испытывать радость. В голове мелькали имена: Фокс, Черчилль, моя тетушка; но всех я видел откуда-то с высоты, мелькавшими в сумерках, неразличимыми — суета в глубокой долине, откуда сам я наконец поднялся. Должно быть, они мне снились.

Знаю, что снилась она. Она одна была различима среди этих силуэтов. Она ослепляла, роскошная в своем изумительном спокойствии, и я приготовился к потрясению любви — любви, что знал я, что знали все люди; но еще значительнее, возвышеннее, почти ужасающей — достойной награды за принесение в жертву целого человеческого прошлого. И вдруг она заговорила. Я услышал звук, подобный шороху ветра в листве, и почувствовал что-то незнакомое, смесь страха и воодушевления, будто она не женщина вовсе, а лишь голос, выкрикивающий странные, неведомые слова, голос вдохновляющий, обещающий и жестокий, безо всякого пыла любви или ненависти. Я прислушался. Все равно что ветер в листве маленькой рощи. Ни ненависти… ни любви. Никакой любви. Раздался грохот, словно рухнул храм. Я вернулся на землю ошеломленный, раздавленный масштабами разрушений и печали. Раскрыл глаза — и увидел солнце, светящее через шторы.

Вроде бы помню, что удивился его виду. Сам не знаю почему. Наверное, повлияло ощущение разрушения из сна, разрушения даже самого солнца. Но мне нравился свет, и какое-то время я просто лежал, наслаждаясь… как бы выразиться?.. его

обыденностью. Это свет дня вчерашнего — и завтрашнего. Я понял, что час уже поздний, и быстро встал, как будто на работу. Но как только ноги коснулись пола, почувствовал себя так, будто уже перетрудился. В действительности делать уже было нечего. Все мышцы подрагивали от усталости. Я чувствовал себя как однажды в прошлом, когда целый час отчаянно боролся с течением, затягивавшим меня в открытое море.

Нет. Делать было больше нечего. Я спустился по лестнице — и ощущение полной бесцельности погнало меня за большие двери, беззвучно затворившиеся за спиной. Я повернул к реке, и на широкой набережной меня залило солнце — дружелюбное, знакомое, теплое, как забота старинного друга. Мимо ползла немая черная баржа, неповоротливая и пустая, а на ней боролся с сильным течением человек, который закидывал голову к небу с каждым движением. Он знал свое дело, хотя всю работу за него выполняла река.

Его усилия внушили и мне мысль, что надо что-то делать. Ну конечно. Людям всегда надо что-то делать. Я почему-то не мог вспомнить что. Это было невыносимо, даже пугающе — этот пробел, эта пустота долгих часов до следующей ночи, — и вдруг меня осенило: мне надо найти цитаты в

Британском музее для нашего «Кромвеля». Наш Кромвель. Кромвеля не было: он жил, он трудился ради будущего — и теперь его нет. Его будущее — это наше прошлое, и оно подошло к концу. Баржа с человеком, все еще напряженно работавшим веслом, скрылась из виду под аркой моста, словно во вратах другого мира. Меня захватило врасплох странное одиночество, и я отвернулся от реки, пустой, как мой день. Мимо текли кебы и брогамы с постоянным приглушенным шорохом колес и цокотом копыт. Грузная ломовая лошадь внесла ноту грома и лязга цепей. Удивительно, но я не мог понять, какая еще цель осталась в этом мире, чтобы приводить всех вокруг в движение. Создавшее их прошлое подошло к концу, будущее уже сожрано новой идеей. А Черчилль? Он тоже трудился ради будущего; он будет жить дальше — но при этом его уже нет. Вызванный этой яркой мыслью, Черчилль пришел мне в голову не один. Он пришел в череде всех истребленных в этой невидимой, тайной борьбе — борьбе с невероятными ставками, из которой я вышел на стороне победителей. Теперь меня окружали проигравшие. Я видел Фокса, Поулхэмптона, самого де Мерша, безымянные толпы; женщин, в которых я думал, что влюблен; мужчин, кому пожимал

руку; укоризненное и ироничное лицо Ли. Они были близко, хоть руку протяни; еще ближе. Я не только всех их видел, но и чувствовал. Их бурное безмолвное движение вызвало волнение у меня в груди.

Я вдруг вскочил — меня гнало ощущение, уже посещавшее меня раньше, вспомнившийся страх; вспомнившийся голос как будто отчетливо произносил непостижимые слова, что двигали мной. Отвесные фасады огромных зданий вокруг меня как будто рушились, подобно утесам во время землетрясения, и на миг я заглянул за них в неведомые глубины, как заглядывал и раньше. Словно в солнечный день на них вдруг легла тень разрушения. Потом они вернулись в состояние покоя; неподвижные, но уже навсегда изменившиеся.

— Какая нелепость, — сказал я себе. — Мне просто нездоровится.

Я был явно не в состоянии для какой угодно работы.

— Но надо же чем-то занять день.

Завтра… Завтра… Мне предстал бледный образ ее лица, как я увидел его на закате первого дня нашего знакомства.

Я вернулся в клуб — на обед, конечно. Аппетита

не было, но меня измучила мысль о нескончаемом дне впереди. Я долго сидел без дела. Позади беседовали двое.

— Черчилль… о, ничем не лучше остальных. Только поскреби поверхность. Будь у меня чутье, я бы давно заметил. Глупо говорить, будто он ничего не знал… Видел последний «Час»?

Я поднялся, чтобы уйти, но вдруг обнаружил, что стою у их столика.

— Вы несправедливы, — сказал я. Они оба посмотрели на меня с большим удивлением. Я их не знал и прошел дальше. Но расслышал, как один спрашивает:

— А это еще кто?..

— О, Этчингем-Грейнджер…

— У него не все дома? — предположил первый.

Я медленно спускался по большой лестнице. У телетайпа сгрудились люди; стекались другие — кто шагом, кто бегом, — заглядывая первым через голову или из-под руки.

— Что там случилось? — спросил я одного.

— О, выступает Грограм, — ответил он, минуя меня.

Кто-то вблизи стал читать вслух:

— Лидер палаты (сэр Ч. Грограм, Девонпорт) заявил… — Слова доносились до моих ушей с

запинками, потому что голос следовал лихорадочному треску приборчика. — …Правительство, очевидно, не может… менять свою политику… в последнюю минуту… по воле… какого-то безответственного работника… ежедневной… газеты.

Я гадал, кто этот «безответственный работник» из речи бедняги Грограма, Соун или Кэллан, как тут уловил имя Гарнарда. Я в раздражении отвернулся. Не хотелось слышать, как какой-то дурак читает слова этого… Все равно что слышать пророческое карканье ворона в старинной балладе.

Я бесцельно спускался в курительную. В непроглядном сумраке лестницы меня остановил голос.

— Эй, Грейнджер! Эй, Грейнджер!

Я оглянулся. Это была одна из крыс журналистики низшего сорта — мосластый, багровый, астматичный мужлан; туша, которая вполне могла бы послужить в кавалерии на благо страны и самого себя. Он шумно пыхтел по направлению ко мне.

— Эй, эй. — Его дыхание вырывалось с хрипом. — Что там такое в «Часе»?

— Мне-то откуда знать, — ответил я резко.

— Говорят, вчера работали вы. Дьявольскую шутку вы сыграли, а? Но, видать, это не с вашей

подачи?

— О, я никогда не играю со своей подачи, — ответил я.

— Конечно, я не хочу навязываться, — продолжал он. Я начал различать в потемках измученное апоплексическое лицо. — Но, эй, что там затеял де Мерш?

— Лучше его и спрашивайте.

Как же невероятно отвратительна она была, эта маска сатира в слабом свете.

— Его нет в Лондоне, — ответила она, подмигнув сморщенными веками. — Но не случилось ли ссоры у Фокса с де Мершем?

Я не ответил. Он был отвратителен и утомителен — и ведь это только начало. Через несколько минут с такими же вопросами пристанут сотни.

Голова покачивалась на могучих плечах.

— Это дурно пахнет, — сказал журналист. Я понял, что он грозит неким шантажом, чтобы вытянуть из меня ответ. Сверху послышался новый голос:

— Эй, Грейнджер! Эй, Грейнджер!

Я раскрыл створчатые двери и медленно прошел по сумрачной комнате. Услышал, как двери распахиваются вновь, как за мной топочут шаги. Я не оглядывался; тогда тот человек забежал

вперед и посмотрел мне в лицо. Это был Поулхэмптон. В его глазах стояли слезы.

— Эй, — начал он. — Что все это значит; *что* все это значит? — Мне было больно на него смотреть. — Я прямо скажу… — начал он опять. У него был требовательный вид ничтожного и безнадежного человека — человека, озадаченного неведомо откуда пришедшимся ударом судьбы. — Я прямо скажу…

— Но при чем тут я? — грубо бросил я.

— О, но ведь *вы*… ведь это вы советовали мне вложиться, — он заговорил с мольбой. — Разве не вы?.. Разве не вы… помните, вы сказали… что…

Я не ответил. Что тут было ответить? Он по-прежнему буравил меня взглядом, будто для него не было ничего важнее, чтобы я признался и разделил вину, — будто это снимет невероятный груз с его плеч. Но я не мог; я его ненавидел.

— Разве не вы, — начал он теперь категорическим тоном, — разве не вы советовали покупать облигации де Мерша?

Я не ответил.

— Что все это значит? — повторил он. — Я прямо скажу: если билль не пройдет, мне конец. А все говорят, Гарнард его изничтожит. Все так говорят, наверху; и что это вы — вы в «Часе»…

вы… несете ответственность.

Он достал платок и высморкался. Я не произнес ни слова.

— Но что можно сделать? — завел он опять. — *Что* можно сделать… я прямо скажу… Моя дочь, она очень смелая, она мне этим утром сказала, что пойдет работать; но она ведь не может; ее не для этого воспитывали… даже в машинистки… а значит… нам всем конец… всем нам. А у меня больше пятидесяти работников, включая мистера Ли, и всех придется уволить. Ужасно… Я же доверял вам, Грейнджер, доверял, а наверху говорят, что это вы…

Я отвернулся. Не мог вынести непонимания и страха в его глазах.

— Так много людей, — зудел он, — все, кого я знаю… Я всем сказал покупать, и… Но вы могли бы нам сообщить, Грейнджер, могли бы. Подумайте о моей несчастной дочке.

Хотелось что-то ответить, ужасно хотелось, но мне нечего было сказать — ни слова. Мне было жаль. Я поднял лист бумаги из тех, что лежали вразброс по пурпурным кушеткам. Стоял спиной к несчастному и делал вид, что читаю.

Тут я с изумлением заметил, что пошатываюсь. Я огляделся. В креслах под мрачными окнами спа-

ли два старика. Один откинул голову на спинку, другой согнулся вперед; его хрупкая белая рука чуть не касалась пола. Поодаль беседовали двое молодых людей; у них был вид заговорщиков: головы сблизились над пустыми кофейными чашками.

Я знал, что Поулхэмптон ушел, что его больше нет позади; но вряд ли я замечал, как идет время. Бог знает, сколько я так простоял. Порой я видел перед глазами лицо Поулхэмптона, словно оно смотрело на меня из смятой бумажки в руках: его панический взгляд, взъерошенные волосы, дорожки слез на щеках. Знал я и то, что теперь эти лица повсюду; повсюду лица охваченных паникой маленьких людей не значительнее покойников на кладбищах — лишь кладбищенское сырье, не больше; маленькие люди, не нужные ни для чего, кроме как жутко страдать от этого удара неведомо откуда. Тогда мне и в голову не приходило, что их наследие перешло ко мне… к нам. И все-таки я задался глупым вопросом, чем отличаюсь вчерашний я от сегодняшнего. Ничем, абсолютно ничем. Только у сегодняшнего меня было еще меньше дел.

Словно от могучего крика снаружи, распахнулись двери в конце зала и влетел человек — один

из тех, кто вечно разносит новости, кто улавливает далекий шум и распространяет его по тихим улицам. Зачем он тревожит меня? Хочу ли я знать его вести? Мне хотелось подумать о Черчилле, подумать, как объяснить… В зал вбежал человек.

— Эй… эй, вы…

Я как раз начал задумываться, откуда у меня эта полная уверенность, что я в одиночестве, и, кажется, тогда-то, в этом охватившем душу одиночестве, я словно увидел силуэт грядущей Немезиды. Никому не позволено так просто разрывать со своим прошлым, прошлым своего рода, отбрасывать сокровища своего прошлого. Я начал подозревать, что не выиграл от этого ничего, начал понимать, что этот ужас может быть реален. Опустился в ближайшее кресло. Тут мой страх прошел. Зал заполнялся, гудел от взволнованных голосов.

— Черчилль! Не лучше остальных! — услышал я откуда-то.

Двое остановились и заговорили. Среднего возраста, чуть седые и краснолицые. Один был в ярости, другой — в печали.

— Только поскреби поверхность. Вот так сел в лужу.

— Неважно, — сказал второй, — все равно

немного грустно. Он символизировал все, во что я верил.

Они прошли мимо. Вдали ярился дерзкий голос:

— Величайшее падение министра в истории!

Это высокий грузный журналист в белом жилете выступал в центре группы, которая медленно разрасталась, набирала массу.

— Его песенка спета — он стоял до конца. Я видел, как он садится в кеб. Досталась там полиции работенка… Чуть ли не бунт поднялся… Бледен, как привидение. А Гарнард? Гарнард великолепен. Совершенно спокоен, в лучшей своей форме. Устроил расправу, не поведя и бровью. Речь, полная добросовестного возмущения. Великолепен. А как же, это шанс всей его жизни.

Затем на какое-то время голоса ушли и затихли. Я выронил бумажку, а когда наклонился за ней, голоса вернулись.

— Грейнджер… Этчингем-Грейнджер… Его сестра выходит за Гарнарда.

На четвереньки я встал, конечно же, чтобы поднять бумажку. Чего я не понимал, так это откуда взялась вода. В остальном все было ясно. У кого-то припадок. Нет, не пьян; посмотрите на его зубы. Зачем ему смотреть в зубы — он что, конь?

* * *

Должно быть, припадок случился у меня. Вокруг собрались люди, первый ряд стоял на коленях, кое-кто держал меня. Человек в красной ливрее и бархатных брюках — слуга — подносил стакан воды; другой стоял с флакончиком. Все шепотом переговаривались обо мне. В одном конце собравшейся подковы кто-то произнес:

— Это же он — тот, кто…

И тут поймал мой взгляд. Мигом понизил голос, и между ними пронесся ужасный шепот. Угадать его было нетрудно: «Тот, кто попался в ловушку». Таким я останусь до конца жизни. Наконец я прославлюсь. Затем пришло желание вырваться.

Я с трудом поднялся на ноги.

— Уже полегчало? — спросил кто-то. Я ответил:

— Я… о, мне надо выйти…

Говорить разборчиво оказалось непросто, язык заплетался. Но я старался внушить этим дуракам, что у меня есть срочные дела — личного характера.

— Вы нездоровы. Позвольте…

Я грубо оттолкнул его прочь — какое ему дело? И быстро ускользнул из зала. Остальные только глядели мне вслед. Я знал, что они будут делать

дальше: обсуждать, сплетничать о «том, кто...».

Почва оказалась зыбкой, коварной, этот мозаичный пол в коридоре.

— Здравствуйте, Грейнджер, — сказал кто-то, когда я проходил мимо. Я и ухом не повел.

Куда я хотел? Никто бы меня не утешил, весь мир превратился в огромный одинокий город закрытых дверей. У меня не было друзей — ни одного. Но мне надо было куда-то пойти, где-то спрятаться, с кем-то поговорить. Я пробормотал кебмену адрес Фокса. Должно быть, у меня зрела мысль об искуплении; мысль о том, чтобы пройти свой путь до конца, неразрывная с потребностью поговорить с кем-то — с кем угодно.

И я боялся — не гнева Фокса; даже не того, на что он способен, — но самого вида его отчаяния. Теперь он стал трагическим персонажем.

Я добрался до его квартиры, сказал: «Это я» — и повторил: «Это я», — но он даже не шелохнулся. Он лежал на диване под пледом, неподвижный, как труп. Я прошелся по его комнате. Помню, ворс ковра был таким густым, что было трудно ступить и шаг. Все здесь задумывалось ради показной роскоши и теперь отдавало чем-то макабрическим. Это сейчас, а до того — чем-то нечистым. Там стояла большая кровать, такая мягкая, что того

гляди утонешь; ослепительно-желтое атласное покрывало — широкое, как море. Стены обиты желтым атласом, окна задрапированы тюлем, стоившим целое состояние, свет смягченный, воздух застойный, все звуки траурно зависали. А посреди всего — неподвижное тело. Вот оно шевельнулось под одеялом и повернулось вокруг своей оси ко мне. Никакого вопроса в воспаленных глазах — они уставились на меня осоловело, топазы в кроваво-красной оправе. На одутловатом лице не было никакого выражения.

— Чего хочешь? — спросил он голосом, возвышенным от нотки безнадежности.

— Я хочу объяснить, — сказал я.

Я и сам не знал, что приехал ради этого.

Он ответил лишь:

— Ты! — с видом человека, говорящего с кем-то бесконечно малозначительным. Будто я и представления не имел об истинной беде.

С отвагой, рожденной отчаянием, я принялся объяснять, что не просто проморгал статью, что действовал сознательно — в своих интересах… «Мои интересы». Это я повторил несколько раз. Я хотел это до него донести и рассказал все. Все без утайки — и о ее появлении, и о ее словах, и о моих чувствах. О том, что я действовал сознательно.

Впервые Фокс посмотрел на меня как на разумное существо.

— О, так ты все это знаешь, — произнес он апатично.

— Проиграть ей — вовсе не позор, — сказал я. — Мы *должны* были проиграть.

Казалось, отчаяние связывает его со мной в единое «мы». Мне хотелось его взбодрить. Сам не знаю почему.

Больше он на меня не смотрел.

— Ах, это, — глухо отозвался он. — Я… я понимаю, о ком ты… Знай я раньше, что-нибудь предпринял бы. Но она — из мира еще выше.

Он будто разговаривал сам с собой. Полузабытый ужас разрастался; вспомнились ее слова, что Фокс, как и она, из одного рода, которому предназначено сменить нас, — из Четвертого измерения. И, глядя на него теперь, я ясно видел, что он правда из иного рода — всегда казался непохожим на любого другого. Он иначе праздновал свои победы, иначе встретил теперь свое отчаяние.

Фокс продолжал:

— С одним Гарнардом я бы еще управился, но мне и в голову не пришло, что придет она. Понимаешь, так всегда и бывает: как ни старайся,

в конце концов здесь взгляд отчего-то слепнет. Надо было, конечно, держаться Гарнарда; не стоило с ним разрывать. Нам всем надо держаться вместе… Но так или иначе, а я справлялся, пока он был один.

Он продолжал говорить бесстрастно и монотонно — то ли со мной, то ли сам с собой. Я слушал так же, как слушают бессодержательный шум, далекий поезд. Фокс уставился в пол, механически двигая губами. Сидел совершенно ровно, уперевшись руками в колени, сгорбившись, уронив голову. Во всем его теле будто не осталось мышечной силы, как у тех дряхлых развалин, что можно видеть на скамьях, пока они греются на солнышке у работных домов.

— Но, — воспаленно заговорил я, — еще ничего не кончено, ты еще можешь побороться!

— Ты, похоже, не понимаешь, — ответил он. — Все *уже кончено* — все. Я выжал из Черчилля и его высоконравственной компашки все, что можно… Что ж, понравились они мне, дураку. Зря я поддался жалости. Но все-таки поддался. Пожив среди таких, как ты, раскисаешь. Конечно, я знал, что их дни сочтены… Ну а теперь-то *все кончено*, — повторил он после долгой паузы.

— И что ты будешь *делать?* — спросил я чуть

ли не в истерике.

— Даже не знаю, — ответил он. — Еще никто из нас не проигрывал. Собственно, нас всегда не хватало для настоящей битвы, пока не пришла она.

Омертвелая безмятежность его поведения давила; больше говорить было не о чем. Я видел человека, который отличался от меня, чьи ценности, абсолютные для него, нельзя мерить по моим.

— Горло себе перерезать, что ли, — сказал он.

Я с отрешенным удивлением заметил, что весь мой правый бок в пыли. Я неприкаянно остановился напротив камина. Над ним висел ряд маленьких инкрустированных рамок с рисунками поразительной пошлости. Загадка становилась все мучительней. Да что за существо может задумать такую невозможно вульгарную комнату, построить алтарь из невозможно пошлых рисунков, а потом просто сложить руки в поражении? Я в ярости развернулся к нему.

— Но ты же достаточно богат, чтобы дальше наслаждаться жизнью, — сказал я.

— Что-что делать? — устало переспросил он.

— Господи боже! — крикнул я. — Да ради чего ты трудишься? Ради чего все строил и строил козни, если не ради того, чтобы в конце насла-

ждаться жизнью?

Он изобразил смутный жест непонимания, будто я поставил перед ним задачку, которая ему не по зубам — и которую он не считал достойной себя.

Это и подтвердило мои подозрения — тот жест. Они не знали удовольствия — эти люди, которым суждено нас заменить; вся их дальновидность лишь помогала вытеснять нас и занимать наши места. То же все время чувствовалось и в ее поведении: она была как сама Судьба, как ужасная Судьба, что опустошает наши жизни, оставляет от наших надежд, наших планов не больше чем мерзкую мешанину осколков, словно от разбитых молотом статуй; бессмысленная, непостижимая, не ведающая радости Судьба, которую мы ненавидим, которая унижает нас во веки веков. Та девушка была всем этим для меня… и для скольких еще?

— Я был порядочным человеком, — произнес я. — Ты слышишь, порядочным. Я мог смотреть людям в глаза. А вы даже не получаете от этого удовольствия. Зачем вы пришли? Ради чего живете? В чем ваша цель?

— Эх, если бы я знал… — ответил он небрежно.

Глава девятнадцатая

Я хотел увидеться с ней, так или иначе покончить со всем, и в доме тетушки я нашел ее в огромном белом зале: она ждала меня. Все заливал свет. В нем она оставалась безо всякой тени, подобная белой статуе в галерее; непостижимая.

— Я пришел, — сказал я.

Планировал сказать: «Потому что мне больше нечего делать во всем мире». Но не сказал, а только смотрел на нее.

— Ты пришел, — повторила она.

Ни капли эмоций — ни в голосе, ни в глазах. Будто я для нее ничто, будто я не человек, а портрет. Что ж, все верно: я — портрет, она — статуя.

— Я все сделал, — сказал я наконец.

— И что тебе нужно?

— Ты знаешь, — ответил я. — Мне нужно получить…

Подходящее слово не шло. Либо «награду», либо «заслуженную плату». И вдруг она посмотрела на меня. Все равно как если бы ко мне обернулась Венера Милосская. Заговорила, как если бы заговорила статуя, как если бы заговорил

человеческим языком похоронный колокол, бесстрастно извещая о чьей-то кончине.

— Ты не сделал ничего, — сказала она. — Ничего.

— И все-таки, — ответил я, — это я стою в сердце всего.

— Ничего, — повторила она. — В сердце всего, да; но это сердце машины.

Она говорила с твердым убеждением. Я так и видел огромную машину — безучастную, бездушную, но ее винтики — это тела людей; огромная мельница, что перемалывает века в пыль; огромный винный пресс. Она продолжала свою речь:

— Что до тебя — ты лишь деталька, как и все остальные; тебя поставили на свое место, потому что ты бы повел себя так, как повел. Таков твой характер. Мы унаследуем землю, а вы — ваши дни сочтены… Помнишь тот день, когда я тебя нашла, — первый день?

Я помнил тот день. Среди холмов, под просторным небом, под пение жаворонков. Она объяснила мне природу вещей. Говорила без выражения, многозначительными словами, как говорила теперь. Сейчас, после стольких дней, после того как отдал ей свое прошлое и будущее, я знал о ней не больше.

— Ты помнишь тот день. Я искала нужного человека — и нашла тебя.

— И ты… — начал я. — Ты все это сделала! Задумайся!.. У меня нет ничего — ничего — нигде в мире. Я не могу смотреть людям в глаза, даже Черчиллю. Я больше не смогу к нему пойти. — Я замолчал, ожидая хоть какого-то признака сочувствия. И не увидел ничего. — Я расстался со своим прошлым — и ты говоришь, что у меня нет будущего.

— Никакого, — повторила она. Потом холодно, как лебедь, ныряющий в воду, продолжила: — Что ж, да! Я причинила тебе боль. Ты страдал, и от боли считаешь меня злодейкой, но помни: в каждую эпоху завтрашняя добродетель воспринимается как вчерашнее зло. То, что губит уходящую эпоху, она и зовет злом. Моя добродетель — это достижение цели. Жалость к тебе была бы для меня преступлением. Ты пострадал. И что? Что ты для меня? Явившись среди вас, я уже стала днем сегодняшним; теперь я торжествую, теперь я добродетельна. Я преуспела. Когда я пришла к вам, я пришла в мир… теней, а не людей. Что мне их страсти, их радости, их страхи, их отчаяние, их негодование? Будь у меня уши, моя добродетель требовала бы остаться глухой к их крикам. Иначе

и быть не могло. Среди нас был один — я имею в виду твоего друга Фокса. Он пришел в мир, но ему не хватило добродетели, чтобы отстраниться от вас. Он говорил тебе: «Здесь взгляд отчего-то слепнет». Он стал чуточку похож на всех вокруг. Он заразился симпатиями и антипатиями. Он проявил симпатию к тебе… а ты его предал. И он проиграл. Он здесь ослеп. Я не ослепла. Я вижу, как видела раньше. Я существую, как существовала раньше в мире… лишь портретов людей. Люди отчаиваются. Я слышу их стоны… ну, для меня-то это лишь стоны покойников. Для тебя, в гуще событий, все это клубок хитросплетенных интриг, мерзкий до последних мелочей. Но отступи на шаг дальше, встань рядом со мной — и что ты увидишь? Могучий механизм разрушения. Он уничтожил целую ткань, целое общество. Все, это уже сделано. Это устроила я. Мне пришлось держать в уме каждую ниточку, вечно быть начеку.

И теперь я одна. Вчера эта ткань была для тебя всем, казалась прочной. И где она сегодня? Чем она для тебя важнее, чем для меня? Ты видел Добродетель… и Добросовестность… и все прочее, что символизировали те люди. Что ж, сегодня их нет; нет даже самой веры в них. Да кто в них поверит теперь, когда доказано, что их орудия

— это люди… вроде де Мерша? И все это сделала я. Для меня это тоже считается добродетелью.

Что ж, вот я и унаследовала землю. Я червь в самом сердце розы. Ты думаешь, я выиграла только руку Гарнарда. Но на самом деле намного больше. Представь это как шахматную доску: Гарнард — последняя оставшаяся фигура. А я — рука, что им движет. Свадьба? Что ж, это союз умов, союз ради единой цели. Но мой ум в нем — главный. Теперь о тебе. Что ж, ты расстался с прошлым… и для тебя нет будущего. Это правда. Тебе некуда пойти, у тебя ничего не осталось, ничего во всем мире. Но что это для меня? Набор фактов: что ты расстался с прошлым и лишился будущего. Тебе нужно было сделать свое дело, а мне — направить тебя. Я выбрала тебя потому, что ты это мог. Только и всего… Я знала тебя, знала твои секреты, твои слабости. Вот моя сила. Я — Неизбежное, будущее, что идет своей дорогой; ты — прошлое, что лежит на обочине. Если бы ради тебя я хоть на шаг отступила от проложенного курса, не достигла бы цели. И такая опасность была, однажды, на миг… Но я выстояла. А ты чего от меня хотел? Чтобы я пала, как Фокс? Говорила как он, выглядела, как сейчас выглядит он… Я? Нет уж, избавь.

Я находилась в руках будущего; я ни разу не

отклонилась; я шла своим путем. Я обязана была судить людей, как судила тебя; извращать, как извратила тебя. Я льстила, подкупала, манила надеждами — и каждый раз, как и с тобой, преуспевала. В этой-то силе и кроется тайна величия, которое и есть добродетель. Я задумала произведение искусства — искусства, непонятного тебе; такого же непонятного, такого же чуждого, как искусство вымерших народов. Теперь вымерли вы, а мое искусство — это искусство наступающего дня. Тебе остается только умыть руки и дивиться, как вы дивились пред вратами Ниневии[61]. Мне пришлось прозвонить в погребальные колокола по старому порядку; по вашим добродетелям, вашей чести, вашей вере… альтруизму, если угодно. Все, этот набат прозвучал. Я всегда была начеку; я предвидела; я предвосхищала; я не знала покоя. А ты…

— А я… — сказал я. — Только любил тебя.

Настала тишина. На миг я будто увидел себя зыбким, бестелесным созданием, привидением в бездонной расщелине между прошлым и тем, что грядет. Таким я останусь навечно.

— Ты только любил меня, — повторила она. —

---

[61] Примечания: 61

Ниневия — столица Ассирийской империи, разрушенная предположительно в 612 году до н. э.

Да, ты любил меня. Но разве это дает тебе какое-то право на меня? Любил меня… Что ж, если бы и я любила тебя, у тебя бы было право… Все твои страдания, вся твоя тоска… от любви; любви ко мне, любви ко всему прошедшему, всему обреченному… Ты любил и других… по-своему. И ты предал их и теперь мучаешься. Не люби ты их, сейчас бы не изводился; не люби меня, не предал бы… не предал бы самого себя. Сначала ты был один — так же, как я. Все эти люди ничего для тебя не значили. Я ничего для тебя не значила. Но тебе обязательно было любить их и меня. А надо было, чтобы они и дальше ничего для тебя не значили. Но ты на это не пошел. Чем они были для тебя? Силуэты, тени на экране. Только выглядели настоящими. Но были ли? Хоть один? Больше ты их не увидишь; больше не увидишь меня; все мы принадлежим прошлому теней. Будь ты как я, мог бы оглянуться на них безучастно или забыть… Но ты… ты «только любил», и отныне больше не будешь знать покоя. И даже теперь значение имеешь только ты. Все потому, что ты сломался; все потому, что ты попрал собственные принципы в наивысший миг истины; все потому, что ты узнал: твоя честь тебе не поможет. Дело же не во вреде, что ты причинил другим. Что

они теперь для тебя — Черчилль, который пал, или Фокс, который мертв? Скорбишь ты по себе. Вот твоя трагедия: ты не можешь вернуться к Черчиллю и посмотреть ему в глаза, не можешь пойти ни к кому, страшась презрения… О, я знаю тебя, знаю.

Она знала меня. Все ее слова от начала до конца были правдой.

Пока она говорила, я ни разу не поднимал глаз от пола; теперь я посмотрел на нее, пытаясь принять факт, что больше никогда ее не увижу. Невозможно. Все та же невыразимая красота, все то же отсутствие теней, подобное прозрачности. И все тот же голос. Невозможно было уложить в голове, что после этого я ее не увижу, не услышу ее голос.

Она долго молчала, и я не говорил ничего — ни слова. В голове была мысль о том, что ее мог постичь конец Фокса; что она могла сидеть, как сидел Фокс: безнадежно, безжизненно, как человек, ждущий конца света. Наконец она произнесла:

— Надежды нет. Мы пойдем каждый своей дорогой; ты — своей, я — своей. А потом, если захочешь — если не сможешь забыть, — вспомни, что я была неравнодушна; что всего на миг, между

вдохом и выдохом, я задумалась… о поражении. Это все, что я могу сделать… для тебя.

Это лишило меня дара речи. Теперь, даже если бы я мог заговорить о чем угодно, я не раскрыл бы рта.

Я не смотрел на нее; стоял, глядя прочь, чувствуя всей душой ее; ее великую красоту, ее великую победу.

* * *

Нескоро, но я ушел. Больше я ее не видел. Больше не видел никого из них. Фокс умер, а встретиться с Черчиллем мне так и не хватило духу. Так завершился этот этап моей жизни. Он прошел и оставил мне только осознание моей слабости и… и сожаление. А она не уходит. Нельзя не узнать ее руку в течении событий. Что ж, мы живем не в самом счастливом мире. Гарнард, говорят, — герой нашего времени, его дух. И говорят, что я, Грейнджер из Этчингема, не лажу со своим зятем.